

Лев Николаевич

Толстой

Семейное счастье

(1858–1859 гг.)

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – 1935

Электронное издание осуществлено

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей–усадьба «Ясная Поляна»

Компания АBBYУ

Подготовлено на основе электронной копии 5–го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 5-му тому Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

Reproduction libre pour tous les pays.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

1860 г.

Размер подлинника

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни с Катей и Соней.

Катя была старый друг дома, гувернантка, вынянчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон; окна почти всегда были замерзлы и тусклы, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили. Редко кто приезжал к нам; да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платье. В

доме еще как будто чувствовалась смерть; печаль и ужас смерти стояли в воздухе. Комната мамы была заперта, и мне становилось жутко, и что-то тянуло меня заглянуть в эту холодную и пустую комнату, когда я проходила спать мимо нее.

Мне было тогда семнадцать лет, и в самый год своей смерти мама хотела переехать в город, чтобы вывозить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили, а вот вторую зиму даром, в уединении, убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепьяно и не брала книги в руки. Когда Катя уговаривала меня заняться тем или другим, я отвечала: не хочется, не могу, а в душе мне говорилось: зачем? Зачем что-нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время? Зачем? А на «зачем» не было другого ответа, как слезы.

Мне говорили, что я похудела и подурнела в это время, но это даже не занимало меня. Зачем? для кого? Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и даже желанья выдти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась, во что бы то ни стало, везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы почти не знали, что у нас осталось после матери, и с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела.

В марте приехал опекун.

– Ну слава Богу! – сказала мне раз Катя, когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний, ходила из угла в угол, – Сергей Михайлыч приехал, присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, – прибавила она, – а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех.

Сергей Михайлыч был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что из всех знакомых мне бы больнее всего было перед Сергеем Михайлычем показаться в невыгодном свете. Кроме того что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый; но, несмотря на то, эти слова мамы запали мне в воображение, и еще шесть лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет, и он говорил мне ты, играл со мной и прозвал меня девочка-фиалка, я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне?

Перед обедом, к которому Катя прибавила пирожное крем и соус из шпината, Сергей Михайлыч приехал. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках, но, как только он заехал за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его. Но, заслышав в передней стук ног, его громкий голос и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался. Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь. Мне стало неловко, и я почувствовала, что покраснела.

– Ах! неужели это вы? – сказал он с своею решительною и простою манерой, разводя руками и подходя ко мне. – Можно ли так перемениться! как вы выросли! Вот-те и фиалка! Вы целой розан стали.

Он взял своею большою рукой меня за руку, и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует мою руку, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом.

Я шесть лет не видала его. Он много переменялся; постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему; но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка.

Через пять минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду.

Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас; он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке, так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее.

Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше; мы с Соней сели около нее; старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.

– Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь! – сказал он, останавливаясь.

– Да, – сказала Катя со вздохом и, прикрыв самовар крышечкой, посмотрела на него, уж готовая расплакаться.

– Вы, я думаю, помните вашего отца? – обратился он ко мне.

– Мало, – отвечала я.

– А как бы вам теперь хорошо было бы с ним! – проговорил он, тихо и задумчиво глядя на мою голову выше моих глаз. – Я очень любил вашего отца! – прибавил он еще тише, и мне показалось, что глаза его стали блестящее.

– А тут ее Бог взял! – проговорила Катя и тотчас же положила салфетку на чайник, достала платок и заплакала.

– Да, страшные перемены в этом доме, – повторил он, отвернувшись. – Соня, покажи игрушки, – прибавил он через несколько времени и вышел в залу. Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел.

– Это такой славный друг! – сказала она.

И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека.

Из гостиной слышался писк Сони и его возня с нею. Я выслала ему чай; и слышно было, как он сел за фортепьяно и Сониными ручонками стал бить по клавишам.

– Марья Александровна! – послышался его голос. – Подите сюда, сыграйте что-нибудь.

Мне приятно было, что он так просто и дружески-повелительно обращается ко мне; я встала и подошла к нему.

– Вот это сыграйте, – сказал он, раскрывая тетрадь Бетговена на адажио сонаты *quasi una fantasia*.¹ – Посмотрим, как-то вы играете, – прибавил он и отошел с стаканом в угол залы.

Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловия, что я дурно играю; я покорно села за клавикорды и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. Адажио было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем, и я сыграла, кажется, порядочно. Но скерцо он мне не дал играть. «Нет, это вы нехорошо играете, – сказал он, подходя ко мне. – это оставьте, а первое недурно. Вы, кажется, понимаете музыку». Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один серьезно, а уже не как с ребенком, как прежде. Катя пошла на верх укладывать Соню, и мы вдвоем остались в зале.

Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда еще я сидела за книгами и игрушками; и отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он расспрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, к которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Я боялась за каждое свое слово; мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая уж была приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца.

Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою

апатию, про которую я ничего не сказала.

– Самого-то главного она и не рассказала мне, – сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.

– Что ж рассказывать! – сказала я: – это очень скучно, да и пройдет. (Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла, и что ее никогда не было.)

– Это нехорошо не уметь переносить одиночества, – сказал он: – неужели вы барышня?

– Разумеется, барышня, – отвечала я, смеясь.

– Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любуются, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило; всё только для показу, а для себя ничего.

– Хорошего вы мнения обо мне, – сказала я, чтобы сказать что-нибудь.

– Нет! – проговорил он, помолчав немного: – не даром вы похожи на вашего отца. В вас есть, – и его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня.

Только теперь я заметила из-за его, на первое впечатление, веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд, сначала ясный, а потом всё более и более внимательный и несколько грустный.

– Вам не должно и нельзя скучать, – сказала он: – у вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, ученье, у вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет.

Он говорил со мной как отец или дядя, и я чувствовала, что он беспрестанно удерживается, чтобы быть наравне со мной. Мне было и обидно, что он считает меня ниже себя, и приятно, что для одной меня он считает нужным стараться быть другим.

Остальной вечер он о делах говорил с Катей.

– Ну, прощайте, любезные друзья, – сказал он, вставая и подходя ко мне и взяв меня за руку.

– Когда же увидимся опять? – спросила Катя.

– Весной, – отвечал он, продолжая держать меня за руку: – теперь поеду в Даниловку (наша другая деревня); узнаю там, устрою, что могу, заеду в Москву уж по своим делам, а лето будем видеться.

– Ну что ж это вы так надолго? – сказала я ужасно грустно; и действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне.

– Да; побольше занимайтесь, не хандрите, – сказал он, как мне показалось, слишком холодно–простым тоном. – А весной я вас проэкзаменую, – прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.

В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается! – подумала я. – Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтоб он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший... но и только.»

Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали и всё говорили, не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос: зачем? уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливою, и в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый, мрачный покровский дом наполнился жизнью и светом.

II.

Между тем пришла весна. Прежняя моя тоска прошла и заменилась весеннею мечтательною тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго, долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, Бог знает о чем думая, чего желая и надеясь. Иногда и целые ночи, особенно месячные, я просиживала до утра у окна своей комнаты, иногда в одной кофточке, потихоньку от Кати, выходила в сад и по росе бегала до пруда, и один раз вышла даже в поле и одна ночью обошла весь сад кругом.

Теперь мне трудно вспомнить и понять те мечты, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мои мечты. Так они были странны и далеки от жизни.

В конце мая Сергей Михайлыч, как и обещал, вернулся из своей поездки.

В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все Петровки. Кудрявые кусты сирени кое–где как будто посыпаны были сверху чем–то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались последние звуки дня, шум пригнанного стада; дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светло–вычищенный самовар, стояли сливки, крендельки, печенья. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и

проголодавшись после купанья, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая, еще через окно, увидела его.

– А! Сергей Михайлыч! – проговорила она, – а мы только что про вас говорили.

Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.

– Ну, что за церемонии в деревне, – сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь, – ведь вам не совестно Григория, а я, право, для вас Григорий. – Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко.

– Я сейчас приду, – сказала я, уходя от него.

– Чем же это дурно! – прокричал он мне вслед, – точно молодайка крестьянская.

«Как он странно посмотрел на меня, – думала я, торопливо переодеваясь наверху. – Ну, слава Богу, что он приехал, веселей будет!» И посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу.

– Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, – сказала Катя, – а то мы одни как в лесу там будем.

– Ах! как бы я с вами вокруг света поехал, – сказал он полушутя, полусерьезно.

– Так что ж, – сказала я, – поедemте вокруг света.

Он улыбнулся и покачал головой.

– А матушка? А дела? – сказал он. – Ну да не в том дело. Расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?

Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Мне казалось необходимо подробно и особенно искренно сообщать ему всё, что я делала хорошего, и признаваться, как на исповеди, во всем, чем он мог быть недоволен. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе, и разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услышав наши

голоса; звездное небо как будто опустилось над нами.

Я заметила, что уже смерклось, только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно влетела под парусину террасы и затрепыхалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но мышь так же беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада.

– Как я люблю ваше Покровское, – сказал он, прерывая разговор. – Так бы всю жизнь и сидел тут на террасе.

– Ну что ж, и сидите, – сказала Катя.

– Да, сидите, – проговорил он, – жизнь не сидит.

– Что вы не женитесь? – сказала Катя. – Вы бы отличный муж были.

– Оттого, что я люблю сидеть, – засмеялся он. – Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно, и с тех пор мне так хорошо стало, право.

Мне показалось, что он как-то неестественно-увлекательно говорит это.

– Вот хорошо! тридцать шесть лет, уж и отжил, – сказала Катя.

– Да еще как отжил, – продолжал он, – только сидеть и хочется. А чтоб жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее, – прибавил он, головой указывая на меня. – Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться.

В тоне его была затаенная грусть и напряженность, не укрывшаяся от меня. Он помолчал немного; ни я, ни Катя ничего не сказали.

– Ну, представьте себе, – продолжал он, повернувшись на стуле, – ежели бы я вдруг женился, каким-нибудь несчастным случаем, на семнадцатилетней девочке, хоть на Маш... на Марье Александровне. Это прекрасный пример, я очень рад, что это так выходит... и это самый лучший пример.

Я засмеялась и никак не понимала, чему он так рад, и что такое так выходит...

– Ну, скажите по правде, руку на сердце, – сказал он, шутливо обращаясь ко мне: – разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там Бог знает что бродит, чего хочется.

Мне неловко стало, я молчала, не зная, что ответить.

– Ведь я не делаю вам предложенья, – сказал он, смеясь, – но по правде, скажите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее; и ведь это было бы несчастье?

– Не несчастье... – начала я.

– Ну, а нехорошо, – закончил он.

– Да, но ведь я могу ошиба....

Но опять он перебил меня.

– Ну вот видите, и она совершенно права, и я благодарен ей за искренность и очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня бы это было величайшее несчастье, – прибавил он.

– Какой вы чудак, ничего не переменились, – сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин.

Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг нас всё было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от оврага, в первый раз нынешний вечер, издали откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушался на минуту, и еще резче и напряженнее залился пересыпчатою звонкою трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем чуждом для нас ночном мире. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, всё удаляясь, прозвучали по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и всё опять затихло. Чуть слышно заколебался лист, полыхнулось полотно террасы, и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней. Мне неловко было молчать после того, что было сказано, но что сказать, я не знала. Я посмотрела на него. Блестящие глаза в полутьме оглянулись на меня.

– Отлично жить на свете! – проговорил он.

Я вздохнула отчего-то.

– Что?

– Отлично жить на свете! – повторила я.

И опять мы замолчали, и мне опять стало неловко. Мне всё приходило в голову, что я огорчила его, согласившись с ним, что он стар, и хотела утешить его, но не знала, как сделать это.

– Однако прощайте, – сказал он, вставая, – матушка ждет меня к ужину. Я почти не видал ее нынче.

– А я хотела сыграть вам новую сонату, – сказала я.

– В другой раз, – сказал он холодно, как мне показалось.

– Прощайте.

Мне еще больше показалось теперь, что я огорчила его, и стало жалко. Мы с Катей проводили его до крыльца и постояли на дворе, глядя по

дороге, по которой он скрылся. Когда затих уже топот его лошади, я пошла кругом на террасу и опять стала смотреть в сад, и в росистом тумане, в котором стояли ночные звуки, долго еще видела и слышала всё то, что хотела видеть и слышать.

Он приехал в другой, в третий раз, и неловкость, происшедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. В продолжение всего лета он раза два-три в неделю приезжал к нам; и я привыкла к нему так, что, когда он долго не приезжал, мне казалось неловко жить одной, и я сердилась на него и находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем, расспрашивал меня, вызывал на самую задушевную откровенность, давал советы, поощрял, иногда бранил и останавливал. Но, несмотря на всё его старанье постоянно быть наравне со мною, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще целый чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня, и это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати и от соседей, что, кроме забот о старой матери, с которой он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекунства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности; но как он смотрел на всё это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от него. Как только я наводила разговор на его дела, он морщился своим особенным манером, как будто говоря: «полноте, пожалуйста, что вам до этого», и переводил разговор на другое. Сначала это оскорбляло меня, но потом я так привыкла к тому, что мы всегда говорили только о вещах, касающихся меня, что уже находила это естественным.

Что также сначала не нравилось мне, а потом, напротив, сделалось приятно, было его совершенное равнодушие и как бы презрение к моей наружности. Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша; а напротив, морщился и смеялся, когда при нем называли меня хорошенькою. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически, в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки, огорчавшие добрую Катю и сначала сбивавшие меня с толку. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, чего ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений; но зато явилось, белыми нитками шитое, кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста. Я знала, что он любит меня, — как ребенка, или как женщину, я еще не спрашивала себя; я дорожила этою любовью и, чувствуя, что он считает меня самою лучшею девушкою в мире, я не могла не желать, чтоб этот обман оставался в нем. И я невольно обманывала его. Но, обманывая его, и сама становилась лучше. Я чувствовала, как лучше и достойнее мне было выказывать перед ним лучшие стороны своей души, чем тела. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, хорошие или дурные, мне казалось, он сразу оценил и знал так, что я ничего, кроме желания обмана, не могла прибавить к своей наружности. Души же моей он не знал; потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и

тут-то я могла обманывать и обманывала его. И как легко мне стало с ним, когда я ясно поняла это! Эти беспричинные смущения, стесненность движений совершенно исчезли во мне. Я чувствовала, что спереди ли, сбоку ли, сидя или стоя он видит меня, с волосами кверху или книзу, он знал всю меня и, мне казалось, был доволен мною, какою я была. Я думаю, что ежели бы он, против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже несколько не была рада. Но зато как отрадно и светло на душе становилось мне, когда он после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шуточный тон:

— Да, да, в вас есть. Вы славная девушка, это я должен сказать вам.

И ведь за что я получала тогда такие награды, наполнявшие мое сердце гордостью и весельем? За то, что я говорила, что сочувствую любви старого Григорья к своей внучке, или за то, что до слез трогалась прочитанным стихотвореньем или романом, или за то, что предпочитала Моцарта Шульгофу. И удивительно, мне подумалось, каким необыкновенным чутьем угадывала я тогда всё то, что хорошо и что надо бы любить; хотя я тогда еще решительно не знала, что хорошо и что надо любить. Большая часть моих прежних привычек и вкусов не нравились ему, и стоило движеньем брови, взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать, сделать свою особенную, жалкую, чуть-чуть презрительную мину, как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде. Бывало, он только хочет посоветовать мне что-нибудь, а уж мне кажется, что я знаю, что он скажет. Он спросит меня, глядя мне в глаза, и взгляд его вытягивает из меня ту мысль, какую ему хочется. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее. Совершенно незаметно для себя, я на всё стала смотреть другими глазами: и на Катю, и на наших людей, и на Соню, и на себя, и на свои занятия. Книги, которые прежде я читывала только для того, чтобы убивать скуку, сделались вдруг для меня одним из лучших удовольствий в жизни; и всё только оттого, что мы поговорили с ним о книгах, читали с ним вместе, и он привозил мне их. Прежде занятия с Соней, уроки ей были для меня тяжелою обязанностью, которую я усиливалась исполнять только по сознанию долга; он посидел за уроком, и следить за успехами Сони сделалось для меня радостью. Выучить целую музыкальную пьесу прежде казалось мне невозможным; а теперь, зная, что он будет слушать и похвалит, может быть, я по сорока раз сряду проигрывала один пассаж, так что бедная Катя затыкала уши ватой, а мне всё не было скучно. Те же старые сонаты как-то совсем иначе фразировались теперь и выходили совсем иначе и гораздо лучше. Даже Катя, которую я знала и любила как себя, и та изменилась в моих глазах. Теперь только я поняла, что она вовсе не была обязана быть матерью, другом, рабой, какой она была для нас. Я поняла всё самоотвержение и преданность этого любящего создання, поняла всё, чем я обязана ей; и еще больше стала любить ее. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, девушек совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до семнадцати лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видела; ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Наш сад, наши рощи, наши поля, которые я так давно знала, вдруг сделались новыми и

прекрасными для меня. Не даром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье – жить для другого. Мне тогда это странно казалось, я не понимала этого; но это убеждение, помимо мысли, уже приходило мне в сердце. Он открыл мне целую жизнь радостей в настоящем, не изменив ничего в моей жизни, ничего не прибавив, кроме себя, к каждому впечатлению. Всё то же с детства безмолвно было вокруг меня, а стоило ему только придти, чтобы всё то же заговорило и наперерыв запросилось в душу, наполняя ее счастьем.

Часто в это лето я приходила наверх, в свою комнату, ложилась на постель, и вместо прежней весенней тоски желаний и надежд в будущем тревога счастья в настоящем обхватывала меня. Я не могла засыпать, вставала, садилась на постель к Кате и говорила ей, что я совершенно счастлива, чего, как теперь я вспоминаю, совсем не нужно было говорить ей: она сама могла видеть это. Но она говорила мне, что и ей ничего не нужно, и что она тоже очень счастлива, и целовала меня. Я верила ей, мне казалось так необходимо и справедливо, чтобы все были счастливы. Но Катя могла тоже думать о сне и даже, притворяясь сердитой, прогоняла меня, бывало, с своей постели и засыпала; а я долго еще перебирала всё то, чем я так счастлива. Иногда я вставала и молилась в другой раз, своими словами молилась, чтобы благодарить Бога за всё то счастье, которое Он дал мне.

И в комнатке было тихо; только сонно и ровно дышала Катя, часы тикали подле нее, и я поворачивалась и шептала слова или крестилась и целовала крест на шее. Двери были закрыты, ставешки были в окнах, какая-нибудь муха или комар, колеблясь, жужжали на одном месте. И мне хотелось никогда не выходить из этой комнатки, не хотелось, чтобы приходило утро, не хотелось, чтобы разлетелась эта моя душевная атмосфера, окружавшая меня. Мне казалось, что мои мечты, мысли и молитвы – живые существа, тут во мраке живущие со мной, летающие около моей постели, стоящие надо мной. И каждая мысль была его мысль, и каждое чувство – его чувство. Я тогда еще не знала, что это любовь, я думала, что это так всегда может быть, что так даром дается это чувство.

III.

Один день во время уборки хлеба мы с Катей и Соней после обеда пошли в сад на нашу любимую скамейку в тени лип над оврагом, за которым открывался вид леса и поля. Сергей Михайлыч уже дня три не был у нас, и в этот день мы ожидали его, тем более, что наш приказчик сказал, что он обещал приехать на поле. Часу во втором мы видели, как он верхом проехал на ржаное поле. Катя велела принести персики и вишен, которые он очень любил, с улыбкой взглянув на меня, прилегла на скамейку и задремала. Я оторвала кривую, плоскую ветку липы с сочными листьями и сочной корой, обмочившей мне руку, и, обмахивая Катю, продолжала читать, беспрестанно отрываясь и глядя на полевую дорогу, по которой он должен был приехать. Соня у корня

старой липы строила беседку для кукол. День был жаркий, безветренный, парило, тучи сrostались и чернели, и с утра еще собиралась гроза. Я была взволнована, как всегда перед грозой. Но после полудня тучи стали разбираться по краям, солнце выплыло на чистое небо, и только на одном краю погромыхивало, и по тяжелой туче, стоявшей над горизонтом и сливавшейся с пылью на полях, изредка до земли прорезались бледные зигзаги молнии. Ясно было, что на нынешний день разойдется, у нас по крайней мере. По видневшейся местами дороге за садом, не прерываясь, то медленно тянулись высокие скрипящие воза с снопами, то быстро, навстречу им, постукивали пустые телеги, дрожали ноги и развевались рубахи. Густая пыль не уносилась и не опускалась, а стояла за плетнем между прозрачною листвою деревьев сада. Подальше, на гумне, слышались те же голоса, тот же скрип колес, и те же желтые снопы, медленно продвигавшиеся мимо забора, там летали по воздуху, и на моих глазах росли овальные дома, выделялись их острые крыши, и фигуры мужиков копошились на них. Впереди, на пыльном поле, тоже двигались телеги, и те же виднелись желтые снопы, и также звуки телег, голосов и песен доносились издали. С одного края всё открытее и открытее становилось жнивье с полосами полыню поросшей межи. Поправее, внизу, по некрасиво спутанному, скошенному полю виднелись яркие одежды вязавших баб, нагибающихся, размахивающих руками, и спутанное поле очищалось, и красивые снопы часто расставлялись по нем. Как будто вдруг на моих глазах из лета сделалась осень. Пыль и зной стояли везде, исключая нашего любимого местечка в саду. Со всех сторон в этой пыли и зное на горячем солнце говорил, шумел и двигался трудовой народ.

А Катя так сладко похрапывала, под белым батистовым платочком на нашей прохладной скамейке, вишни так сочно-глянцовито чернели на тарелке, платья наши были так свежи и чисты, вода в кружке так радужно-светло играла на солнце, и мне так было хорошо. «Что же делать? — думала я, — чем же я виновата, что я счастлива? Но как поделиться счастьем? как и кому отдать всю себя и всё свое счастье?...»

Солнце уже зашло за макушки березовой аллеи, пыль укладывалась в поле, даль виднелась явственнее и светлее в боковом освещении, тучи совсем разошлись, на гумне из-за деревьев видны были три новые крыши скирд, и мужики сошли с них; телеги с громкими криками проскакали, видно, в последний раз; бабы с граблями на плечах и свяслами на кушаках с громкою песнью прошли домой, а Сергей Михайлыч всё не приезжал, несмотря на то, что я давно видела, как он съехал под гору. Вдруг по аллее, с той стороны, с которой я вовсе не ожидала его, показалась его фигура (он обошел оврагом). С веселым, сияющим лицом и сняв шляпу, он скорыми шагами шел ко мне. Увидав, что Катя спит, он закусил губу, закрыл глаза и пошел на цыпочках; я сейчас заметила, что он находился в том особенном настроении беспричинной веселости, которое я ужасно любила в нем, и которое мы называли диким восторгом. Он был точно школьник, вырвавшийся от ученья; всё существо его, от лица и до ног, дышало довольством, счастьем и детскою резвостию.

— Ну, здравствуйте, молодая фиялка, как вы? хорошо? — сказал он

шопотом, подходя ко мне и пожимая мне руку... А я отлично, – отвечал он на мой вопрос, – мне нынче тринадцать лет, хочется в лошадки играть и по деревьям лазить.

– В диком восторге? – сказала я, глядя на его смеющиеся глаза и чувствуя, что этот дикий восторг сообщался мне.

– Да, – отвечал он, подмигивая одним глазом и удерживая улыбку. – Только за что же Катерину Карловну по носу бить?

Я и не заметила, глядя на него и продолжая махать веткой, как я сбила платок с Кати и гладила ее по лицу листьями. Я засмеялась.

– А она скажет, что не спала, – проговорила я шопотом, будто бы для того, чтобы не разбудить Катю; но совсем не затем: мне просто приятно было шопотом говорить с ним.

Он зашевелил губами, передразнивая меня, будто я говорила уже так тихо, что ничего нельзя было слышать. Увидев тарелку с вишнями, он как будто украдкой схватил ее, пошел к Соне под липу и сел на ее куклы. Соня рассердилась сначала, но он скоро помирился с ней, устроив игру, в которой он с ней на перегонки должен был съесть вишни.

– Хотите, я велю еще принести, – сказала я, – или пойдете сами.

Он взял тарелку, посадил на нее кукол, и мы втроем пошли к сараю. Соня, смеясь, бежала за нами, дергая его за пальто, чтоб он отдал кукол. Он отдал их и серьезно обратился ко мне.

– Ну, как же вы не фиалка, – сказал он мне всё еще тихо, хотя некого уже было бояться разбудить: – как только подошел к вам после всей этой пыли, жару, трудов, так и запахло фиалкой. И не душистою фиалкой, а знаете, этою первою, темленькою, которая пахнет снежком талым и травю весеннею.

– Ну, а что, хорошо всё идет по хозяйству? – спросила я его, чтобы скрыть радостное смущение, которое произвели во мне его слова.

– Отлично! этот народ везде отличный. Чем больше его знаешь, тем больше любишь.

– Да, – сказала я, – нынче перед вами я смотрела из саду на работы, и так мне вдруг совестно стало, что они трудятся, а мне так хорошо, что...

– Не кокетничайте этим, мой друг, – перебил он меня, вдруг серьезно, но ласково взглянув мне в глаза: – это дело свято. Избави вас Бог щеголять этим.

– Да я вам только говорю это.

– Ну да, я знаю. Ну, как же вишни?

Сарай был заперт, и садовников никого не было (он их всех усылал на работы). Соня побежала за ключом, но он, не дожидаясь ее, взлез на угол, поднял сетку и спрыгнул на другую сторону.

– Хотите? – послышался мне оттуда его голос: – давайте тарелку.

– Нет, я сама хочу рвать, я пойду за ключом, – сказала я, – Соня не найдет...

Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую кадку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Я окинула глазами внутренность сарая с его старыми изогнутыми деревьями и с зубчатыми широкими листьями, из-за которых тяжело и прямо висели черные сочные ягоды, и, подсунув голову под сетку, из-под корявого сука старой вишни увидела Сергея Михайлыча. Он, верно, думал, что я ушла, что никто его не видит. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни и старательно скатывал в шарик кусок вишневого клею. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза и, проговорив что-то, улыбнулся. Так не похоже на него было это слово и эта улыбка, что мне совестно стало за то, что я подсматриваю его. Мне показалось, что слово это было: Маша! «Не может быть», думала я. – Милая Маша! – повторил он уже тише и еще нежнее. Но я уже явственно слышала эти два слова. Сердце забилось у меня так сильно, и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услышал мое движение, испуганно оглянулся и, вдруг опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Он хотел сказать мне что-то, но не мог, и еще, и еще так и вспыхивало его лицо. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Всё лицо его просияло радостью. Это был уже не старый дядя, ласкающий и поучающий меня, это был равный мне человек, который любил и боялся меня, и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился, улыбка и блеск в глазах его исчезли, и он холодно, опять отечески обратился ко мне, как будто мы делали что-нибудь дурное, и как будто он опомнился и мне советовал опомниться.

– Однако слезайте, ушибетесь, – сказал он. – Да поправьте волосы, посмотрите, на что вы похожи.

«Зачем он притворяется? зачем хочет мне делать больно?» с досадой подумала я. И в ту же минуту мне пришло непреодолимое желание еще раз смутить его и испытать на нем мою силу.

– Нет, я хочу сама рвать, – сказала я и, схватившись руками за ближайший сук, ногами вскочила на стену. Он не успел поддержать меня, как я уж соскочила в сарай на землю.

– Какие вы глупости делаете! – проговорил он, снова краснея и под видом досады стараясь скрыть свое смущение: – ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?

Он был смущен еще больше, чем прежде, но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщилось мне, я покраснела и, избегая его взгляда и не зная, что говорить, стала рвать ягоды, которых класть мне было некуда. Я упрекала себя, я раскаивалась, я боялась, и мне казалось, что я навеки погубила себя в его глазах этим поступком. Мы оба молчали, и обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Долго после этого мы ничего не говорили друг с другом, и оба обращались к Соне. Когда мы вернулись к Кате, которая уверяла нас, что не спала, а всё слышала, я успокоилась, и он снова старался попасть в свой покровительственный отеческий тон, но тон этот уже не удавался ему и не обманывал меня. Мне живо вспомнился теперь разговор, бывший несколько дней тому назад между нами.

Катя говорила о том, как легче мужчине любить и выражать любовь, чем женщине.

— Мужчина может сказать, что он любит, а женщина — нет, — говорила она.

— А мне кажется, что и мужчина не должен и не может говорить, что он любит, — сказал он.

— Отчего? — спросила я.

— Оттого, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп — любит. Как будто, как только он произнесет это слово, что-то должно произойти необыкновенное, знаменья какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалют. Мне кажется, — продолжал он, — что люди, которые торжественно произносят эти слова: «я вас люблю», или себя обманывают, или, что еще хуже, обманывают других.

— Так как же узнает женщина, что ее любят, когда ей не скажут этого? — спросила Катя.

— Этого я не знаю, — отвечал он: — у каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится. Когда я читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадаченное лицо у поручика Стрельского или у Альфреда, когда он скажет: «я люблю тебя, Элеонора!» и думает, что вдруг произойдет необыкновенное; и ничего не происходит ни у ней, ни у него, те же самые глаза и нос, и всё то же самое.

Я тогда уже в этой шутке чувствовала что-то серьезное, относящееся ко мне, но Катя не позволяла легко обращаться с героями романов.

— Вечно парадоксы, — сказала она. — Ну, скажите по правде, разве вы сами никогда не говорили женщине, что любите ее?

— Никогда не говорил и на колено на одно не становился, — отвечал он, смеясь, — и не буду.

«Да, ему не нужно говорить мне, что он меня любит, – думала я теперь, живо вспоминая этот разговор. – Он любит меня, я это знаю. И всё старание его казаться равнодушным не разуверит меня».

Весь этот вечер он мало говорил со мною, но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь и не сомневалась в ней. Мне только досадно и жалко за него было, зачем он находит нужным еще таиться и притворяться холодным, когда всё уже так ясно, и когда так легко и просто можно бы было быть так невозможно счастливым. Но меня, как преступление, мучило то, что я спрыгнула к нему в сарай. Мне всё казалось, что он перестанет уважать меня за это и сердит на меня.

После чаю я пошла к фортепьяно, и он пошел за мною.

– Сыграйте что-нибудь, давно я вас не слышал, – сказал он, догоняя меня в гостиной.

– Я и хотела... Сергей Михайлыч! – сказала я, вдруг глядя ему прямо в глаза. – Вы не сердитесь на меня?

– За что? – спросил он.

– Что я вас не послушала после обеда, – сказала я, краснея.

Он понял меня, покачал головой и усмехнулся. Взгляд его говорил, что следовало бы побранить, но что он не чувствует в себе силы на это.

– Ничего не было, мы опять друзья, – сказала я, садясь за фортепьяно.

– Еще бы! – сказал он.

В большой высокой зале было только две свечи на фортепьяно, остальное пространство было полутемно. В отворенные окна глядела светлая летняя ночь. Всё было тихо, только Катины шаги с перемигиванием поскрипывали в темной гостиной, и его лошадь, привязанная под окном, фыркала и била копытом по лопуху. Он сидел сзади меня, так что мне его не видно было; но везде в полутьме этой комнаты, в звуках, во мне самой я чувствовала его присутствие. Каждый взгляд, каждое движение его, которых я не видела, отзывались в моем сердце. Я играла сонату-фантазию Моцарта, которую он привез мне, и которую я при нем и для него выучила. Я вовсе не думала о том, что играю, но, кажется, играла хорошо, и мне казалось, что ему нравится. Я чувствовала то наслаждение, которое он испытывал, и, не глядя на него, чувствовала взгляд, который сзади был устремлен на меня. Совершенно невольно, продолжая бессознательно шевелить пальцами, я оглянулась на него. Голова его отделялась на светлевшем фоне ночи. Он сам сидел, облокотившись головой на руки, и пристально смотрел на меня блестящими глазами. Я улыбнулась, увидев этот взгляд, и перестала играть. Он улыбнулся тоже и укоризненно покачал головой на ноты, чтоб я продолжала. Когда я кончила, месяц посветлел, поднялся высоко, и в комнату уже, кроме слабого света свеч, входил из окон другой серебристый свет, падавший на пол. Катя

сказала, что ни на что не похоже, как я остановилась на лучшем месте, и что я дурно играла; но он сказал, что, напротив, я никогда так хорошо не играла, как нынче, и стал ходить по комнатам, через залу в темную гостиную и опять в залу, всякий раз оглядываясь на меня и улыбаясь. И я улыбалась, мне даже смеяться хотелось без всякой причины, так я была рада чему-то, нынче только, сейчас случившемуся. Как только он скрывался в дверь, я обнимала Катю, с которой мы стояли у фортепьяно, и начинала целовать ее в любимое мое местечко, в пухлую шею под подбородок; как только он возвращался, я делала как будто серьезное лицо и насилу удерживалась от смеха.

– Что с нею сделалось нынче? – говорила ему Катя.

Но он не отвечал и только посмеивался на меня. Он знал, что со мною сделалось.

– Посмотрите, что за ночь! – сказал он из гостиной, останавливаясь перед открытой в сад балконную дверь...

Мы подошли к нему, и точно, это была такая ночь, какой уж я никогда не видала после. Полный месяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тени крыши, столбов и полотна террасы наискоски ей рассосис² лежала на песчаной дорожке и газонном круге. Остальное всё было светло и облито серебром росы и месячного света. Широкая цветочная дорожка, по которой с одного края косо ложились тени георгин и подпорок, вся светлая и холодная, блестя неровным щебнем, уходила в тумане и в даль. Из-за дерев виднелась светлая крыша оранжереи, и из-под оврага поднимался растущий туман. Уже несколько оголенные кусты сирени все до сучьев были светлы. Все увлажненные росой цветы можно было отличать один от другого. В аллеях тень и свет сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Направо в тени дома всё было черно, безразлично и страшно. Но зато еще светлее выходила из этого мрака причудливо-раскидистая макушка тополя, которая почему-то странно остановилась тут недалеко от дома, наверху в ярком свете, а не улетела куда-то, туда далеко, в уходящее синеватое небо.

– Пойдемте ходить, – сказала я.

Катя согласилась, но сказала, чтоб я надела калоши.

– Не надо, Катя, – сказала я, – вот Сергей Михайлыч даст мне руку.

Как будто это могло помешать мне промочить ноги. Но тогда это всем нам троим было понятно и ничуть не странно. Он никогда не подавал мне руки, но теперь я сама взяла ее, и он не нашел этого странным. Мы втроем сошли с террасы. Весь этот мир, это небо, этот сад, этот воздух были не те, которые я знала.

Когда я смотрела вперед по аллее, по которой мы шли, мне всё казалось, что туда дальше нельзя было идти, что там кончился мир возможного, что всё это навсегда должно быть заковано в своей красоте. Но мы подвигались, и волшебная стена красоты раздвигалась,

впускала нас, и там тоже, казалось, был наш знакомый сад, деревья, дорожки, сухие листья. И мы точно ходили по дорожкам, наступали на круги света и тени, и точно сухой лист шуршал под ногою, и свежая ветка задевала меня по лицу. И это точно был он, который, ровно и тихо ступая подле меня, бережно нес мою руку, и это точно была Катя, которая, поскрипывая, шла рядом с нами. И, должно быть, это был месяц на небе, который светил на нас сквозь неподвижные ветви...

Но с каждым шагом сзади нас и спереди снова замыкалась волшебная стена, и я переставала верить в то, что можно еще идти дальше, переставала верить во всё, что было.

– Ах! лягушка! – проговорила Катя.

«Кто и зачем это говорит?» подумала я. Но потом я вспомнила, что это Катя, что она боится лягушек, и я посмотрела под ноги. Маленькая лягушонка прыгнула и замерла передо мной, и от нее маленькая тень виднелась на светлой глине дорожки.

– А вы не боитесь? – сказал он.

Я оглянулась на него. Одной липы в аллее неоставало в том месте, где мы проходили, мне ясно было видно его лицо. Оно было так прекрасно и счастливо...

Он сказал: «вы не боитесь?» а я слышала, что он говорил: «люблю тебя, милая девушка!» – Люблю! люблю! – твердил его взгляд, его рука; и свет, и тень, и воздух, и всё твердило то же самое.

Мы обошли весь сад. Катя ходила рядом с нами своими маленькими шажками и тяжело дышала от усталости. Она сказала, что время вернуться, и мне жалко, жалко стало ее, бедняжку. «Зачем она не чувствует того же, что мы? – думала я. – Зачем не все молоды, не все счастливы, как эта ночь и как мы с ним?»

Мы вернулись домой, но он еще долго не уезжал, несмотря на то, что прокричали петухи, что все в доме спали, и лошадь его всё чаще и чаще била копытом по лопуху и фыркала под окном. Катя не напоминала нам, что поздно, и мы, разговаривая о самых пустых вещах, просидели, сами не зная того, до третьего часа утра. Уж кричали третьи петухи, и заря начала заниматься, когда он уехал. Он простился, как обыкновенно, ничего не сказал особенного; но я знала, что с нынешнего дня он мой, и я уже не потеряю его. Как только я призналась себе, что люблю его, я всё рассказала и Кате. Она была рада и тронута тем, что я ей рассказала, но бедняжка могла заснуть в эту ночь, а я долго, еще долго ходила по террасе, сходила в сад и, припоминая каждое слово, каждое движение, прошла по тем аллеям, по которым мы прошли с ним. Я не спала всю эту ночь и в первый раз в жизни видела восход солнца и раннее утро. И ни такой ночи, ни такого утра я уже никогда не видала после. «Только зачем он не скажет мне просто, что любит меня? – думала я. – Зачем он выдумывает какие-то трудности, называет себя стариком, когда всё так просто и прекрасно? Зачем он теряет золотое время, которое, может быть, уже никогда не возвратится? Пускай он скажет: люблю, словами скажет: люблю, пускай

рукой возьмет мою руку, пригнет к ней голову и скажет: люблю. Пускай покраснеет и опустит глаза передо мной, и я тогда всё скажу ему. И не скажу, а обниму, прижмусь к нему и заплачу. Но что ежели я ошибаюсь, и ежели он не любит меня?» вдруг пришло мне в голову.

Я испугалась своего чувства, Бог знает, куда оно могло повести меня, и его и мое смущение в сарае, когда я спрыгнула к нему, вспомнились мне, и мне стало тяжело, тяжело на сердце. Слезы полились из глаз, я стала молиться. И мне пришла странная, успокоившая меня мысль и надежда. Я решила говеть с нынешнего дня, причаститься в день моего рождения и в этот самый день сделаться его невестой.

Зачем? почему? как это должно случиться? я ничего не знала, но я с той минуты верила и знала, что это так будет. Уже совсем рассвело, и народ стал подыматься, когда я вернулась в свою комнату.

IV.

Был успенский пост, и потому никого в доме не удивило мое намерение – говеть в это время.

Во всю эту неделю он ни разу не приезжал к нам, и я не только не удивлялась, не тревожилась и не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только к дню моего рождения. В продолжение этой недели я всякий день вставала рано и, покуда мне закладывали лошадь, одна, гуляя по саду, перебирала в уме грехи прошлого дня и обдумывала то, что мне нужно было делать нынче, чтобы быть довольною своим днем и не согрешить ни разу. Тогда мне казалось так легко быть совершенно безгрешною. Казалось, стоило только немножко постараться. Подъезжали лошади, я с Катей или с девушкой садилась в линейку, и мы ехали за три версты в церковь. Входя в церковь, я всякий раз вспоминала, что молятся за всех, «со страхом Божиим входящих», и старалась именно с этим чувством всходить на две поросшие травой ступени паперти. В церкви бывало в это время не больше человек десяти говевших крестьянок и дворовых; и я с старательным смирением старалась отвечать на их поклоны и сама, что мне казалось подвигом, ходила к свечному ящику брать свечи у старого старосты солдата и ставила их. Сквозь царские двери виднелся покров алтаря, вышитый мамашей, над иконостасом стояли два деревянные ангела с звездами, казавшиеся мне такими большими, когда я была маленькая, и голубок с желтым сиянием, тогда занимавший меня. Из-за клироса виднелась измятая купель, в которой столько раз я крестила детей наших дворовых, и в которой и меня крестили. Старый священник выходил в ризе, сделанной из покрова гроба моего отца, и служил тем самым голосом, которым с тех самых пор, как помню себя, служилась церковная служба в нашем доме: и крестины Сони, и панихиды отца, и похороны матери. И тот же дребезжащий голос дьячка раздавался на клиросе, и та же старушка, которую я помню всегда в церкви, при каждой службе, согнувшись, стояла у стены и плачущими глазами

смотрела на икону в клиросе и прижимала сложенные персты к полинялому платку, и беззубым ртом шептала что-то. И всё это уже не любопытно, не по одним воспоминаниям близко мне было, – всё это было теперь велико и свято в моих глазах и казалось мне полным глубокого значения. Я вслушивалась в каждое слово читаемой молитвы, чувством старалась отвечать на него и, ежели не понимала, то мысленно просила Бога просветить меня или придумывала на место нерасслышанной свою молитву. Когда читались молитвы раскаяния, я вспоминала свое прошедшее, и это детское невинное прошедшее казалось мне так черно в сравнении с светлым состоянием моей души, что я плакала и ужасалась над собой; но вместе с тем чувствовала, что всё это простится, и что ежели бы и еще больше грехов было на мне, то еще и еще слаще бы было для меня раскаяние. Когда священник в конце службы говорил: «благословение Господне на вас», мне казалось, что я испытывала мгновенно сообщаемое мне физическое чувство благосостояния. Как будто какие-то свет и теплота вдруг входили мне в сердце. Служба кончалась, батюшка выходил ко мне и спрашивал, не нужно ли и когда приехать к нам служить всенощную; но я трогательно благодарила его за то, что он хотел, как я думала, для меня сделать, и говорила, что я сама приду или приеду.

– Сами потрудиться хотите? – говаривал он.

И я не знала, что отвечать, чтобы не согрешить против гордости.

От обедни я всегда отпускала лошадей, ежели была без Кати, возвращалась одна пешком, низко, со смирением кланяясь всем встречавшимся мне и стараясь найти случай помочь, посоветовать, пожертвовать собой для кого-нибудь, пособить поднять воз, покачать ребенка, дать дорогу и загрязниться. Один раз вечером я слышала, что приказчик, докладывая Кате, сказал, что Семен, мужик, приходил просить тесину на гроб дочери и денег рубль на поминки, и что он дал ему. – Разве они так бедны? – спросила я. – Очень бедны, сударыня, без соли сидят, – отвечал приказчик. Что-то защемило мне в сердце, и вместе с тем я как будто обрадовалась, услышав это. Обманув Катю, что я пойду гулять, я побежала вверх, достала все свои деньги (их было очень мало, но всё, что у меня было) и, перекрестившись, пошла одна через террасу и сад на деревню к избе Семена. Она была с края деревни, и я, никем невидимая, подошла к окну, положила на окно деньги и стукнула в него. Кто-то вышел из избы, скрипнул дверью и окликнул меня; я, дрожа и холодея от страха, как преступница, прибежала домой. Катя спросила меня, где я была? что со мною? но я не поняла даже того, что она мне говорила, и не ответила ей. Всё так ничтожно и мелко вдруг показалось мне. Я заперлась в своей комнате и долго ходила одна взад и вперед, не в состоянии ничего делать, думать, не в состоянии дать себе отчета в своем чувстве. Я думала и о радости всего семейства, о словах, которыми они назовут того, кто положил деньги, и мне жалко становилось, что я не сама отдала их. Я думала и о том, что бы сказал Сергей Михайлыч, узнав этот поступок, и радовалась тому, что никто никогда не узнает его. И такая радость была во мне, и так дурны казались все и я сама, и так кротко я смотрела на себя и на всех, что мысль о смерти, как мечта о счастье, приходила мне. Я улыбалась и молилась, и плакала, и всех на свете и себя так страстно, горячо любила в эту минуту. Между службами я

читала Евангелие, и всё понятнее и понятнее мне становилась эта книга, и трогательнее и проще история этой божественной жизни, и ужаснее и непроницаемее те глубины чувства и мысли, которые я находила в его учении. Но зато как ясно и просто мне казалось всё, когда я, вставая от этой книги, опять вглядывалась и вдумывалась в жизнь, окружавшую меня. Казалось, так трудно жить нехорошо и так просто всех любить и быть любимой. Все так добры и кротки были со мной, даже Соня, которой я продолжала давать уроки, была совсем другая, старалась понимать, угождать и не огорчать меня. Какую я была, такими и все были со мною. Перебирая тогда своих врагов, у которых мне надо было просить прощения перед исповедью, я вспомнила вне нашего дома только одну барышню, соседку, над которой я посмеялась год тому назад при гостях, и которая за это перестала к нам ездить. Я написала к ней письмо, признавая свою вину и прося ее прощения. Она отвечала мне письмом, в котором сама просила прощения и прощала меня. Я плакала от радости, читая эти простые строки, в которых тогда мне виделось такое глубокое и трогательное чувство. Няня расплакалась, когда я просила ее прощения. «За что они все так добры ко мне? чем я заслужила такую любовь?» спрашивала я себя. И я невольно вспоминала Сергея Михайлыча и подолгу думала о нем. Я не могла делать иначе и даже не считала это грехом. Но я думала теперь о нем совсем не так, как в ту ночь, когда в первый раз узнала, что люблю его, я думала о нем как о себе, невольно присоединяя его к каждой мысли о своем будущем. Подавляющее влияние, которое я испытывала в его присутствии, совершенно исчезло в моем воображении. Я чувствовала себя теперь равной ему и с высоты духовного настроения, в котором находилась, совершенно понимала его. Мне теперь ясно было в нем то, что прежде мне казалось странным. Только теперь я понимала, почему он говорил, что счастье только в том, чтобы жить для другого, и я теперь совершенно была согласна с ним. Мне казалось, что мы вдвоем будем так бесконечно и спокойно счастливы. И мне представлялись не поездки за границу, не свет, не блеск, а совсем другая тихая семейная жизнь в деревне, с вечным самопожертвованием, с вечной любовью друг ко другу и с вечным сознанием во всем кроткого и помогающего Провидения.

Я причащалась, как и предполагала, в день моего рождения. В груди у меня было такое полное счастье, когда я возвращалась в этот день из церкви, что я боялась жизни, боялась всякого впечатления, всего того, что могло нарушить это счастье. Но только что мы вышли из линейки на крыльцо, как по мосту загредел знакомый кабриолет, и я увидела Сергея Михайлыча. Он поздравил меня, и мы вместе вошли в гостиную. Никогда с тех пор, как я его знала, я не была так спокойна и самостоятельна с ним, как в это утро. Я чувствовала, что во мне был целый новый мир, которого он не понимал, и который был выше его. Я не чувствовала с ним ни малейшего смущения. Он понимал, должно быть, отчего это происходило, и был особенно нежно кроток и набожно уважителен со мной. Я подошла было к фортепьяно, но он запер его и спрятал ключ в карман.

– Не портите своего настроения, – сказал он: – у вас теперь в душе такая музыка, которая лучше всякой на свете.

Я благодарна была ему за это, и вместе с тем мне было немного

неприятно, что он так слишком легко и ясно понимал всё, что тайно для всех должно было быть в моей душе. За обедом он сказал, что приехал поздравить меня и вместе проститься, потому что завтра едет в Москву. Говоря это, он смотрел на Катю; но потом мельком взглянул на меня, и я видела, как он боялся, что заметит волнение на моем лице. Но я не удивилась, не встревожилась, даже не спросила, надолго ли? Я знала, что он это скажет, и знала, что он не уедет. Как я это знала? Я теперь никак не могу объяснить себе; но в этот памятный день мне казалось, что я всё знала, что было и что будет. Я была как в счастливом сне, когда всё, что ни случится, кажется, что уже было, и всё это я давно знаю, и всё это еще будет, и я знаю, что это будет.

Он хотел ехать сейчас после обеда, но Катя, уставшая от обедни, ушла полежать, и он должен был подождать, пока она проснется, чтобы проститься с ней. В зале было солнце, мы вышли на террасу. Только что мы сели, как я совершенно спокойно начала говорить то, что должно было решить участь моей любви. И начала говорить ни раньше, ни позже, а в ту самую минуту, как мы сели, и ничего еще не было сказано, не было еще никакого тона и характера разговора, который бы мог помешать тому, что я хотела сказать. Я сама не понимаю, откуда брались у меня такое спокойствие, решимость и точность в выражениях. Как будто не я, а что-то такое независимо от моей воли говорило во мне. Он сидел против меня, облокотившись на перилы, и, притянув к себе ветку сирени, обрывал с нее листья. Когда я начала говорить, он отпустил ветку и головой оперся на руку. Это могло быть положение человека совершенно спокойного или очень взволнованного.

– Зачем вы едете? – спросила я значительно, с расстановкой и прямо глядя на него.

Он не вдруг ответил.

– Дела! – проговорил он, опуская глаза.

Я поняла, как трудно ему было лгать передо мной и на вопрос, сделанный так искренно.

– Послушайте, – сказала я, – вы знаете, какой день нынче для меня. По многом этот день очень важен. Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие (вы знаете, что я привыкла к вам и люблю вас), я спрашиваю потому, что мне нужно знать. Зачем вы едете?

– Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду, – сказал он. – В эту неделю я много думал о вас и о себе и решил, что мне надо ехать. Вы понимаете, зачем? и ежели любите меня, не будете больше спрашивать. – Он потер лоб рукою и закрыл ею глаза. – Это мне тяжело... А вам понятно.

Сердце начало сильно биться у меня.

– Я не могу понять, – сказала я, – не могу, а вы скажите мне, ради Бога, ради нынешнего дня скажите мне, я всё могу спокойно слышать, – сказала я.

Он переменял положение, взглянул на меня и снова притянул ветку.

– Впрочем, – сказал он, помолчав немного и голосом, который напрасно хотел казаться твердым, – хоть и глупо и невозможно рассказывать словами, хоть мне и тяжело, я постараюсь объяснить вам, – добавил он, морщась как будто от физической боли.

– Ну! – сказала я.

– Представьте себе, что был один господин, А положим, – сказал он, – старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая, счастливая, не видавшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее, как дочь, и не боялся полюбить иначе.

Он замолчал, но я не прерывала его.

– Но он забыл, что Б так молода, что жизнь для нее еще игрушка, – продолжал он вдруг скоро и решительно и не глядя на меня, – и что ее легко полюбить иначе, и что ей это весело будет. И он ошибся и вдруг почувствовал, что другое чувство, тяжелое как раскаянье, пробирается в его душу, и испугался. Испугался, что расстроятся их прежние дружеские отношения, и решил уехать прежде, чем расстроятся эти отношения. – Говоря это, он опять, как будто небрежно, стал потирать глаза рукою и закрыл их.

– Отчего ж он боялся полюбить иначе? – чуть слышно сказала я, сдерживая свое волнение, и голос мой был ровен; но ему он, верно, показался шутивым. Он отвечал как будто оскорбленным тоном.

– Вы молоды, – сказал он, – я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте, только не со мной, а то я поверю, и мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Это А сказал, – прибавил он, – ну, да это всё вздор, но вы понимаете, зачем я еду. И не будемте больше говорить об этом. Пожалуйста!

– Нет! нет! будем говорить! – сказала я, и слезы задрожали у меня в голосе. – Он любил ее или нет?

Он не отвечал.

– А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком? – проговорила я.

– Да, да, А виноват был, – отвечал он, торопливо перебивая меня, – но всё было кончено, и они расстались... друзьями.

– Но это ужасно! и разве нет другого конца, – едва проговорила я и испугалась того, что сказала.

– Да, есть, – сказал он, открывая взволнованное лицо и глядя прямо на меня. – Есть два различные конца. Только ради Бога не перебивайте и спокойно поймите меня. Одни говорят, – начал он, вставая и улыбаясь болезненно, тяжелою улыбкой, – одни говорят, что А сошел с

ума, безумно полюбил Б и сказал ей это... А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни.

Я вздрогнула и хотела перебить его, сказать, чтоб он не смел говорить за меня, но он, удерживая меня, положил свою руку на мою.

– Пойдите, – сказал он дрожащим голосом, – другие говорят, будто она сжалась над ним, вообразила себе, бедняжка, не выдавая людей, что она точно может любить его, и согласилась быть его женой. И он, сумасшедший, поверил, поверил, что вся жизнь его начнется снова, но она сама увидела, что обманула его, и что он обманул ее... Не будем больше говорить про это, – заключил он, видимо не в силах говорить далее, и молча стал ходить против меня.

Он сказал: «не будем говорить», а я видела, что он всеми силами души ждал моего слова. Я хотела говорить, но не могла, что-то жало мне в груди. Я взглянула на него, он был бледен, и нижняя губа его дрожала. Мне стало жалко его. Я сделала усилие и вдруг, разорвав силу молчания, сковывавшую меня, заговорила голосом тихим, внутренним, который, я боялась, оборвется каждую секунду.

– А третий конец, – сказала я и остановилась, но он молчал, – а третий конец, что он не любил, а сделал ей больно, больно и думал, что прав, уехал и еще гордился чем-то. Вам, а не мне, вам шутки, я с первого дня полюбила, полюбила вас, – повторила я, и на этом слове «полюбила» голос мой невольно из тихого внутреннего перешел в дикий вскрик, испугавший меня самою.

Он бледный стоял против меня, губа его тряслась сильнее и сильнее, и две слезы выступили на щеки.

– Это дурно! – почти прокричала я, чувствуя, что задыхаюсь от злых невыплаканных слез. – За что? – проговорила я и встала, чтобы уйти от него.

Но он не пустил меня. Голова его лежала на моих коленях, губы его целовали мои еще дрожавшие руки, и его слезы мочили их.

– Боже мой, ежели бы я знал, – проговорил он.

– За что? За что? – всё еще твердила я, а в душе у меня было счастье, навеки ушедшее, не возвратившееся счастье.

Через пять минут Соня бежала вверх к Кате и на весь дом кричала, что Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче.

V.

Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали

этого. Правда, Катя хотела было ехать в Москву и покупать и заказывать приданое, и его мать требовала было, чтоб он, прежде чем жениться, обзавелся новой каретой, мебелью и оклеил бы дом новыми обоями, но мы вдвоем настояли на том, чтобы сделать всё это после, ежели уже это так необходимо, а венчаться две недели после моего рождения, тихо, без приданого, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Он рассказывал мне, как его мать была недовольна тем, что свадьба должна была сделаться без музыки, без гор сундуков и без переделки заново всего дома, не так, как ее свадьба, стоившая тридцать тысяч, и как она серьезно и тайно от него, перебирая в кладовой сундуки, совещалась с экономкой Марьюшкой о каких-то необходимейших для нашего счастья коврах, гардинах и подносах. С моей стороны Катя делала то же с няней Кузьминишной. И об этом с ней нельзя было говорить шутя. Она твердо была убеждена, что мы, говоря между собой о нашем будущем, только нежничаем, делаем пустяки, как и свойственно людям в таком положении; но что существенное-то наше будущее счастье будет зависеть только от правильной кройки и шитья сорочек и подрубки скатертей и салфеток. Между Покровским и Никольским каждый день по несколько раз сообщались тайные известия о том, что где заготавливалось, и хотя наружно между Катей и его матерью казались самые нежные отношения, между ними чувствовалась уже несколько враждебная, но тончайшая дипломатия. Татьяна Семеновна, его мать, с которой я теперь познакомилась ближе, была чопорная, строгая хозяйка дома и старого века барыня. Он любил ее не только как сын по долгу, но как человек по чувству, считая ее самую лучшею, самую умною, добрую и любящую женщиной в мире. Татьяна Семеновна всегда была добра к нам и ко мне особенно и рада была, что ее сын женится, но когда я как невеста была у нее, мне показалось, что она хотела дать почувствовать мне, что, как партия для ее сына, я могла бы быть и лучше, и что не мешало бы мне всегда помнить это. И я совершенно понимала ее и была согласна с ней.

Эти две последние недели мы виделись каждый день. Он приезжал к обеду и просиживал до полночи. Но, несмотря на то, что он говорил – и я знала, что говорил правду – что без меня он не живет, он никогда не проводил целого дня со мной и старался продолжать заниматься своими делами. Внешние отношения наши до самой свадьбы оставались те же, как и прежде, мы продолжали говорить друг другу вы, он не целовал даже моей руки и не только не искал, но даже избегал случаев оставаться наедине со мною. Как будто он боялся отдаться слишком большой, вредной нежности, которая была в нем. Не знаю, он или я изменились, но теперь я чувствовала себя совершенно равною ему, не находила в нем больше прежде не нравившегося мне притворства простоты и часто с наслаждением видела перед собой, вместо внушающего уважение и страх мужчины, кроткого и потерянного от счастья ребенка. Так только-то и было в нем! – часто думала я, – он точно такой же человек, как и я, не больше. Теперь мне казалось, что он весь передо мной, и что я вполне узнала его. И всё, что я узнавала, было так просто и так согласно со мной. Даже его планы о том, как мы будем жить вместе, были те же мои планы, только яснее и лучше обозначившиеся в его словах.

Погода эти дни была дурная, и большую часть времени мы проводили в

комнатах. Самые лучшие душевные беседы происходили в углу между фортепьяно и окошком. На черном окне близко отражался огонь свеч, по глянцевоитому стеклу изредка ударяли и текли капли. По крыше стучало, в луже шлепала вода под жолобом, из окна тянуло сыростью. И как-то еще светлее, теплее и радостнее казалось в нашем углу.

– А знаете, я давно хотел вам сказать одну вещь, – сказал он раз, когда мы поздно одни засиделись в этом углу. – Я, покуда вы играли, всё думал об этом.

– Ничего не говорите, я всё знаю, – сказала я.

Он улыбнулся.

– Да, правда, не будем говорить.

– Нет скажите, что? – спросила я.

– А вот что. Помните, когда я вам рассказывал историю про А и Б?

– Еще бы не помнить эту глупую историю. Хорошо, что так кончилось...

– Да, еще бы немного, и всё мое счастье погибло бы от меня самого. Вы спасли меня. Но главное, что я всё лгал тогда, и мне совестно, я хочу досказать теперь.

– Ах, пожалуйста, не надо.

– Не бойтесь, – сказал он, улыбаясь. – Мне только оправдаться надо. Когда я начал говорить, я хотел рассуждать.

– Зачем рассуждать! – сказала я, – никогда не надо.

– Да, я рассуждал плохо. После всех моих разочарований, ошибок в жизни, когда я нынче приехал в деревню, я так себе сказал решительно, что любовь для меня кончена, что остаются для меня только обязанности доживанья, что я долго не отдавал себе отчета в том, что такое мое чувство к вам и к чему оно может повести меня. Я надеялся и не надеялся, то мне казалось, что вы кокетничаете, то верилось, и сам не знал, что я буду делать. Но после этого вечера, помните, когда мы ночью ходили по саду, я испугался, мое теперешнее счастье показалось мне слишком велико и невозможно. Ну, что бы было, ежели бы я позволил себе надеяться, и напрасно? Но, разумеется, я думал только о себе; потому что я гадкий эгоист.

Он помолчал, глядя на меня.

– Однако ведь и не совсем вздор я говорил тогда. Ведь можно и должно было мне бояться. Я так много беру от вас и так мало могу дать. Вы еще дитя, вы бутон, который еще будет распускаться, вы в первый раз любите, а я...

– Да, скажите мне по правде, – сказала я, но вдруг мне страшно стало за его ответ. – Нет, не надо, – прибавила я.

– Любил ли я прежде? да? – сказал он, тотчас угадав мою мысль. – Это я могу сказать вам. Нет, не любил. Никогда ничего похожего на это чувство... – Но вдруг как будто какое-то тяжелое воспоминание мелькнуло в его воображении. – Нет, и тут мне нужно ваше сердце, чтоб иметь право любить вас, – сказал он грустно. – Так разве не нужно было задуматься, прежде чем сказать, что я люблю вас? Что я вам даю? Любовь – правда.

– Разве это мало? – сказала я, глядя ему в глаза.

– Мало, мой друг, для вас мало, – продолжал он. – У вас красота и молодость! Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и всё думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая уединенная жизнь в нашей деревенской глуши, с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли, потом труд, труд, который, кажется, что приносит пользу, потом отдых, природа, книга, музыка, любовь к близкому человеку, вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут, сверх всего этого, такой друг, как вы, семья может быть, и всё, что только может желать человек.

– Да, – сказала я.

– Для меня, который прожил молодость, да, но не для вас, – продолжал он. – Вы еще не жили, вы еще в другом, может быть, захотите искать счастья и, может быть, в другом найдете его. Вам кажется теперь, что это счастье, оттого, что вы меня любите.

– Нет, я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь, – сказала я. – И вы только говорите то самое, что я думала.

Он улыбнулся.

– Это только вам кажется, мой друг. А вам мало этого. У вас красота и молодость, – повторил он задумчиво.

Но я рассердилась за то, что он не верил мне и как будто попрекал моею красотой и молодостью.

– Так за что же вы любите меня? – сказала я сердито: – за молодость или за меня самую?

– Не знаю, но люблю, – отвечал он, глядя на меня своим внимательным, притягивающим взглядом.

Я ничего не отвечала и невольно смотрела ему в глаза. Вдруг что-то странное случилось со мной; сначала я перестала видеть окружающее, потом лицо его исчезло передо мной, только одни его глаза блестели, казалось, против самых моих глаз; потом мне показалось, что глаза эти во мне, всё помутилось, я ничего не видала и должна была зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и страха, которые производил во мне этот взгляд...

Накануне дня, назначенного для свадьбы, перед вечером погода разгулялась. И после дождей, начавшихся летом, прояснился первый холодный и блестящий осенний вечер. Всё было мокро, холодно, светло, и в саду в первый раз замечался осенний простор, пестрота и оголенность. На небе было ясно, холодно и бледно. Я пошла спать, счастливая от мысли, что завтра, в день нашей свадьбы, будет хорошая погода.

В этот день я проснулась с солнцем, и мысль, что уже нынче... как будто испугала и удивила меня. Я вышла в сад. Солнце только что взошло и блестело раздробленно сквозь облетевшие желтеющие липы аллеи. Дорожка была устлана шуршавшими листьями. Сморщенные яркие кисти рябины краснелись на ветках с убитыми морозом редкими, покоробившимися листьями, георгины сморщились и почернели. Мороз в первый раз серебром лежал на бледной зелени травы и на поломанных лопухах около дома. На ясном, холодном небе не было и не могло быть ни одного облака.

«Неужели нынче? – спрашивала я себя, не веря своему счастью. – Неужели завтра уже я проснусь не здесь, а в чужом николевском доме с колоннами? Неужели больше не буду ожидать и встречать его и по вечерам и ночам говорить о нем с Катей? Не буду с ним сидеть у фортепьяно в покровской зале? Не буду провожать и бояться за него в темные ночи?» Но я вспомнила, что вчера он сказал, что приезжает в последний раз, и Катя заставляла меня примеривать подвенечное платье и сказала: к завтраму; и я верила на мгновение и снова сомневалась. «Неужели с нынешнего же дня буду жить там с свекровью, без Надежи, без старика Григория, без Кати? Не буду целовать на ночь няню и слышать, как она по старой привычке, перекрестив меня, скажет: покойной ночи, барышня? Не буду учить Соню и играть с нею и через стену стучать к ней утром и слышать ее звонкий хохот? Неужели нынче я сделаюсь чужою для себя самой, и новая жизнь осуществления моих надежд и желаний открывается передо мною? Неужели навсегда эта новая жизнь?» Я с нетерпением ждала его, мне тяжело было одной с этими мыслями. Он приехал рано, и только с ним я вполне поверила тому, что нынче буду его женою, и мысль эта перестала быть для меня страшною.

Перед обедом мы ходили в нашу церковь служить панихиду по отце.

«Ежели бы он был жив теперь!» думала я, когда мы возвращались домой, и я молча опиралась на руку человека, бывшего лучшим другом того, о ком я думала. Во время молитвы, припадая головою к холодному камню пола часовни, я так живо воображала моего отца, так верила в то, что его душа понимает меня и благословляет мой выбор, что и теперь мне казалось, что душа его тут летает над нами, и что я чувствую на себе его благословение. И воспоминания, и надежды, и счастье, и печаль сливались во мне в одно торжественное и приятное чувство, к которому шли этот неподвижный, свежий воздух, тишина, оголенность полей и бледное небо, с которого на всё падали блестящие, но бессильные лучи, пытавшиеся жечь мне щеку. Мне казалось, что тот, с кем я шла, понимал и разделял мое чувство. Он шел тихо и молча, и в его лице, на которое я взглядывала изредка, выражалась та же важная не то печаль, не то радость, которые были и в природе, и в моем сердце.

Вдруг он обернулся ко мне, я видела, что он хотел сказать что-то. «Что ежели он заговорит не про то, про что я думаю?» пришло мне в голову. Но он заговорил про отца, даже не называя его.

– А один раз он шутя сказал мне: «женись на моей Маше!» – сказал он.

– Как бы он был счастлив теперь! – сказала я, крепче прижимая к себе руку, которая несла мою.

– Да, вы еще были дитя, – продолжал он, глядя в мои глаза, – я целовал тогда эти глаза и любил их только за то, что они на него похожи, и не думал, что они будут за себя так дороги мне. Я звал вас Машею тогда.

– Говорите мне «ты», – сказала я.

– Я только что хотел сказать тебе «ты», – проговорил он, – только теперь мне кажется, что ты совсем моя, – и спокойный, счастливый, притягивающий взгляд остановился на мне.

И мы все шли тихо по полевой, непроторенной дорожке через стоптанное, сбитое жнивье; и только шаги и голоса наши были нам слышны. С одной стороны через овраг до далекой оголенной рощи тянулось буроватое жнивье, по которому в стороне от нас мужик с сохой беззвучно прокладывал всё шире и шире черную полосу. Рассыпанный под горою табун казался близко. С другой стороны и впереди до сада и нашего дома, видневшегося из-за него, чернело и кое-где полосами уже зеленело озимое оттаявшее поле. На всем блестело нежаркое солнце, на всем лежали длинные, волокнистые паутины. Они летали в воздухе вокруг нас и ложились на обсыхающее от мороза жнивье, попадали нам в глаза, на волосы, на платья. Когда мы говорили, голоса наши звучали и останавливались над нами в неподвижном воздухе, как будто мы одни только и были посреди всего мира и одни под этим голубым сводом, на котором, вспыхивая и дрожа, играло нежаркое солнце.

Мне тоже хотелось назвать его ты, но совестно было.

– Зачем ты идешь так скоро? – сказала я скороговоркою и почти шопотом и невольно покраснела.

Он пошел тише и еще ласкательнее, еще веселее и счастливее смотрел на меня.

Когда мы вернулись домой, уже там была его мать и гости, без которых мы не могли обойтись, и я до самого того времени, как мы из церкви сели в карету, чтоб ехать в Никольское, не была наедине с ним.

Церковь была почти пуста, я видела одним глазом только его мать, прямо стоявшую на коврик у клироса, Катю в чепце с лиловыми лентами и слезами на щеках и двух-трех дворовых, любопытно глядевших на меня. На него я не смотрела, но чувствовала тут подле себя его присутствие. Я вслушивалась в слова молитв, повторяла их, но в душе ничего не отзывалось. Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы,

на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необычайное совершается надо мною. Когда священник с крестом обернулся к нам, поздравил и сказал, что он крестил меня, и вот Бог привел и венчать, Катя и его мать поцеловали нас, и послышался голос Григория, зовущего карету, я удивилась и испугалась, что всё кончено уже, а ничего необыкновенного, соответствующего совершившемуся надо мною таинству, не сделалось в моей душе. Мы поцеловались с ним, и этот поцелуй был такой странный, чуждый нашему чувству. «И только-то», подумала я. Мы вышли на папёрть, звук колес густо раздался под сводом церкви, свежим воздухом пахнуло в лицо, он надел шляпу и за руку посадил меня в карету. Из окна кареты я увидела морозный с кругом месяц. Он сел рядом со мною и затворил за собою дверцу. Что-то кольнуло меня в сердце. Как будто оскорбительно мне показалась уверенность, с которою он это сделал. Катин голос прокричал, чтобы я закрыла голову, колеса застучали по камню, потом по мягкой дороге, и мы поехали. Я, прижавшись к углу, смотрела в окно на далекие светлые поля и на дорогу, убегаящую в холодном блеске месяца. И не глядя на него, чувствовала его тут рядом со мною. «Что ж, и только-то дала мне эта минута, от которой я ждала так много?» подумала я, и мне всё как будто унижительно и оскорбительно казалось сидеть одной так близко с ним. Я обернулась к нему с намерением сказать ему что-нибудь. Но слова не говорившись, как будто уже не было во мне прежнего чувства нежности, а чувства оскорбления и страха заменили его.

— Я до этой минуты всё не верил, что это может быть, — тихо ответил он на мой взгляд.

— Да, но мне страшно почему-то, — сказала я.

— Меня страшно, мой друг? — сказал он, взяв мою руку и опуская к ней голову.

Моя рука безжизненно лежала в его руке, и в сердце становилось больно от холода.

— Да, — прошептала я.

Но тут же сердце вдруг забилось сильнее, рука задрожала и сжала его руку, мне стало жарко, глаза в полутьме искали его взгляда, и я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот — любовь, новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. Я почувствовала, что я вся его, и что я счастлива его властью надо мною.

—

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

VI.

Дни, недели, два месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда; а между тем на целую жизнь достало бы чувств, волнений и счастья этих двух месяцев. Мои и его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда, исполнения долга самопожертвования и жизни для другого, что я воображала себе, когда была невестой; было, напротив, одно себялюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым, беспричинное, постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда по делам ездил в город и ходил по хозяйству; но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как всё на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое. Я читала, занималась и музыкой, и мамашей, и школой; но всё это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрение; но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня, и мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь, кроме его. Может быть, это было нехорошее себялюбивое чувство; но чувство это давало мне счастье и высоко поднимало меня над всем миром. Только он один существовал для меня на свете, а его я считала самым прекрасным, непогрешимым человеком в мире; поэтому я и не могла жить ни для чего другого, как для него, как для того, чтобы быть в его глазах тем, чем он считал меня. А он считал меня первую и прекраснейшую женщиной в мире, одаренную всеми возможными добродетелями; и я старалась быть этой женщиной в глазах первого и лучшего человека во всем мире.

Один раз он вошел ко мне в комнату в то время, как я молилась Богу. Я оглянулась на него и продолжала молиться. Он сел у стола, чтобы не мешать мне, и раскрыл книгу. Но мне показалось, что он смотрит на меня, и я оглянулась. Он улыбнулся, я рассмеялась и не могла молиться.

— А ты молился уже? — спросила я.

— Да. Да ты продолжай, я уйду.

— Да ты молишься, надеюсь?

Он, не отвечая, хотел уйти, но я остановила его.

— Душа моя, пожалуйста, для меня, прочти со мною молитвы.

Он стал рядом со мною и, неловко опустив руки, с серьезным лицом, запинаясь, стал читать. Изредка он оборачивался ко мне, искал одобрения и помощи на моем лице.

Когда он кончил, я засмеялась и обняла его.

– Всё ты, всё ты! Точно мне опять десять лет становится, – сказал он, краснея и целуя мои руки.

Наш дом был один из старых деревенских домов, в которых, уважая и любя одно другое, прожило несколько родственных поколений. От всего пахло хорошими честными семейными воспоминаниями, которые вдруг, как только я вошла в этот дом, сделались как будто и моими воспоминаниями. Убранство и порядок дома велись Татьяною Семеновной по-старинному. Нельзя сказать, чтобы всё было изящно и красиво; но от прислуги до мебели и кушаньев всего было много, всё было опрятно, прочно, аккуратно и внушало уважение. В гостиной симметрично стояла мебель, висели портреты, и на полу расстилались домашние ковры и полосухи. В диванной находились старый рояль, шифоньерки двух различных фасонов, диваны и столики с латуной и инкрустациями. В моем кабинете, убранном старанием Татьяны Семеновны, стояла самая лучшая мебель различных веков и фасонов и между прочим старое трюмо, на которое я сначала никак не могла смотреть без застенчивости, но которое впоследствии, как старый друг, сделалось мне дорого. Татьяны Семеновны не слышно было, но всё в доме шло как заведенные часы, хотя людей было много лишних. Но все эти люди, носившие мягкие без каблуков сапоги (Татьяна Семеновна считала скрип подошв и топот каблуков самую неприятную вещь на свете), все эти люди казались горды своим званием, трепетали перед старою барыней, на нас с мужем смотрели с покровительственною лаской и, казалось, с особенным удовольствием делали свое дело. Каждую субботу регулярно в доме мылись полы и выбивались ковры, каждое первое число служились молебны с водосвятием, каждое тезоименитство Татьяны Семеновны, ее сына (и мое – в первый раз в эту осень) задавались пиры на весь околоток. И всё это неизменно делалось еще с тех пор, как помнила себя Татьяна Семеновна. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами, и занимался много. Он вставал даже и зимою очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставала его. Он возвращался обыкновенно к чаю, который мы пили одни, и почти всегда в эту пору, после хлопот и неприятностей по хозяйству, находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли диким восторгом. Часто я требовала, чтоб он рассказал мне, что делал утром, и он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху; иногда я требовала серьезного рассказа, и он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала, только радовалась, что вижу его и слышу его голос.

«Ну что же я сказал? повтори», спрашивал он. Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что он мне рассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не всё равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами. Татьяна Семеновна не выходила до обеда, пила чай одна и только через послов здоровалась с нами. В нашем особом, сумасбродно счастливом мирке так странно звучал голос из ее другого, степенного, порядочного уголка, что часто я не выдерживала и только хохотала в ответ горничной, которая, сложив руку на руку,

мерно докладывала, что Татьяна Семеновна приказали узнать, как почивали после вчерашнего гулянья, а про себя приказали доложить, что у них всю ночь бочок болел, и глупая собака на деревне лаяла, мешала почивать. «А еще приказали спросить, как понравилось нынешнее печенье, и просили заметить, что не Тарас нынче пек, а для пробы, в первый раз, Николаша, и очень дескать недурно, крендельки особенно, а сухари пережарил». До обеда мы были мало вместе. Я играла, читала одна, ом писал, уходил еще; но к обеду, в четыре часа, мы сходились в гостиной, мамаша выплывала из своей комнаты, и являлись бедные дворянки, странницы, которых всегда человека два–три жило в доме. Регулярно каждый день муж по старой привычке подавал к обеду руку матери; но она требовала, чтоб он подавал мне другую, и регулярно каждый день мы теснились и путались в дверях. За обедом председательствовала матушка же, и разговор велся прилично–рассудительный и несколько торжественный. Наши простые слова с мужем приятно разрушали торжественность этих обеденных заседаний. Между сыном и матерью иногда завязывались споры и насмешки друг над другом; я особенно любила эти споры и насмешки, потому что в них–то сильнее всего выражалась нежная и твердая любовь, которая связывала их. После обеда татап садилась в гостиную на большое кресло и растирала табак или разрезывала листы новополученных книг, а мы читали вслух или уходили в диванную к клавибордам. Мы много вместе читали это время, но музыка была нашим любимейшим и лучшим наслаждением, всякий раз вызывая новые струны в наших сердцах и как будто снова открывая нам друг друга. Когда я играла его любимые вещи, он садился на дальний диван, где мне почти не видно было его, и из стыдливости чувства старался скрывать впечатление, которое производила на него музыка; но часто, когда он не ожидал этого, я вставала от фортепьян, подходила к нему и старалась застать на его лице следы волнения, неестественный блеск и влажность в глазах, которые он напрасно старался скрыть от меня. Мамаше часто хотелось посмотреть на нас в диванной, но, верно, она боялась стеснить нас, и иногда, будто не глядя на нас, она проходила через диванную с мнимо–серьезным и равнодушным лицом; но я знала, что ей не за чем было ходить к себе и так скоро возвращаться. Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние собирались к столу. Это торжественное заседание при зеркале самовара и раздача стаканов и чашек долгое время смущали меня. Мне всё казалось, что я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленна, чтобы повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос Никите и приговаривать: «Петру Ивановичу, Марье Миничне», спрашивать: «сладко ли?» и оставлять куски сахара няне и заслуженным людям. «Славно, славно, – часто приговаривал муж, – точно большая», и это еще больше смущало меня.

После чая татап раскладывала пасьянс или слушала гаданье Марьи Миничны; потом целовала и крестила нас обоих, и мы уходили к себе. Большею частью, однако, мы просиживали вдвоем за полночь, и это было самое лучшее и приятное время. Он рассказывал мне про свое прошедшее, мы делали планы, философствовали иногда и старались говорить всё потихоньку, чтобы нас не услышали наверху и не донесли бы Татьяне Семеновне, которая требовала, чтобы мы ложились рано. Иногда мы, проголодавшись, потихоньку шли в буфет, доставали холодный ужин через протекцию Никиты и съедали его при одной свече в

моем кабинете. Мы жили с ним точно чужие в этом большом старом доме, в котором над всем стоял строгий дух старины и Татьяны Семеновны. Не только она, но люди, старые девушки, мебель, картины внушали мне уважение, некоторый страх и сознание того, что мы с ним здесь немножко не на своем месте, и что нам надо жить здесь очень осторожно и внимательно. Как я вспоминаю теперь, то вижу, что многое – и этот связывающий неизменный порядок, и эта бездна праздных и любопытных людей в нашем доме – было неудобно и тяжело; но тогда самая эта стесненность еще более оживляла нашу любовь. Не только я, но и он не показывал вида, что ему что-нибудь не нравится. Напротив, он даже как будто прятался сам от того, что было дурно. Маменькин лакей Дмитрий Сидоров, большой охотник до трубки, регулярно каждый день после обеда, когда мы бывали в диванной, ходил в мужнин кабинет брать его табак из ящика; и надо было видеть, с каким веселым страхом Сергей Михайлыч на цыпочках подходил ко мне и, грозя пальцем и подмигивая, показывал на Дмитрия Сидоровича, который никак не предполагал, что его видят. И когда Дмитрий Сидоров уходил, не заметив нас, от радости, что всё кончилось благополучно, как и при всяком другом случае, муж говорил, что я прелесть, и целовал меня. Иногда это спокойствие, всепрощение и как будто равнодушие ко всему не нравилось мне, я не замечала того, что во мне было то же самое, и считала это слабостью. «Точно ребенок, который не смеет показать свою волю!» думала я.

– Ах, мой друг, – отвечал он мне, когда я раз сказала ему, что меня удивляет его слабость, – разве можно быть чем-нибудь недовольну, когда так счастлив, как я? Легче самому уступать, чем гнуть других, в этом я давно убедился; и нет того положения, в котором бы нельзя было быть счастливым. А нам так хорошо! Я не могу сердиться; для меня теперь нет дурного, есть только жалкое и забавное. А главное – *le mieux est l'ennemi du bien*.³ Поверишь ли, когда я слышу колокольчик, письмо получаю, просто когда проснусь, мне страшно становится. Страшно, что жить надо, что изменится что-нибудь; а лучше теперешнего быть не может.

Я верила, но не понимала его. Мне было хорошо, но казалось, что всё это так, а не иначе должно быть и всегда со всеми бывает, а что есть там, где-то, еще другое, хотя не большее, но другое счастье.

Так прошло два месяца, пришла зима с своими холодами и метелями, и я, несмотря на то, что он был со мной, начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, а нет ни во мне, ни в нем ничего нового, а что, напротив, мы как будто возвращаемся к старому. Он начал заниматься делами без меня больше, чем прежде, и опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Я любила его не меньше, чем прежде, и не меньше, чем прежде, была счастлива его любовью; но любовь моя остановилась и не росла больше, а кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне мало было любить после того, как я испытала счастье полюбить его. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня

находили порывы тоски, которую я, как что-то дурное, старалась скрывать от него, и порывы неистовой нежности и веселости, пугавшие его. Он еще прежде меня заметил мое состояние и предложил ехать в город; но я просила его не ездить и не изменять нашего образа жизни, не нарушать нашего счастья. И точно, я была счастлива; но меня мучило то, что счастье это не стоило мне никакого труда, никакой жертвы, когда силы труда и жертвы томили меня. Я любила его и видела, что я всё для него; но мне хотелось, чтобы видели все нашу любовь, чтобы мешали мне любить, и я всё-таки любила бы его. Мой ум и даже чувство были заняты, но было другое чувство молодости, потребности движения, не находившее удовлетворения в нашей тихой жизни. Зачем он мне сказал, что мы можем ехать в город, когда только я захочу этого? Не скажи он мне этого, может быть, я поняла бы, что томившее меня чувство есть вредный вздор, вина моя, что та жертва, которую я искала, была тут передо мной, в подавлении этого чувства. Мысль, что я могу спастись от тоски, только переехав в город, невольно приходила мне в голову; и вместе с тем оторвать его от всего, что он любил, для себя мне было совестно и жалко. А время уходило, снег заносил больше и больше стены дома, и мы всё были одни и одни, и всё те же были мы друг перед другом; а там где-то в блеске, в шуме волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и о нашем уходившем существовании. Хуже всего для меня было то, что я чувствовала, как с каждым днем привычки жизни заковывали нашу жизнь в одну определенную форму, как чувство наше становилось несвободно, а подчинялось ровному, бесстрастному течению времени. Утром мы бывали веселы; в обед почтительны, вечером нежны. «Добро!.. – говорила я себе, – это хорошо делать добро и жить честно, как он говорит; но это мы успеем еще, а есть что-то, на что у меня только теперь есть силы». Мне не того нужно было, мне нужна была борьба; мне нужно было, чтобы чувство руководило нами в жизни, а не жизнь руководила чувством. Мне хотелось подойти с ним вместе к пропасти и сказать: вот шаг, я брошусь туда, вот движение, и я погибла, – и чтоб он, бледнея на краю пропасти, взял меня в свои сильные руки, поддержал бы над ней, так что у меня бы в сердце захолонуло, и унес бы куда хочет.

Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться. Одно утро мне было хуже обыкновенного; он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тотчас заметила это и спросила, что с ним? но он не хотел сказать мне, говоря, что не стоит того. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и, по нерасположению к мужу, требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы всё было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мною. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мною оттого, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я отвернулась от него, замолчала и велела попросить к чаю Марью Миничну, которая гостила у нас. После чаю, который я кончила особенно скоро, я увела Марью Миничну в диванную и стала громко говорить с нею о каком-то вздоре, который для меня был вовсе незанимателен. Он ходил по комнате, изредка взглядывая на нас. Эти взгляды почему-то теперь так действовали на меня, что мне всё больше и больше хотелось говорить и даже смеяться; мне казалось смешно всё, что я сама говорила, и всё, что говорила Марья Минична.

Ничего не сказав мне, он ушел совсем в свой кабинет и затворил за собою дверь. Как только его не слышно стало, вся моя веселость вдруг исчезла, так что Марья Минична удивилась и стала спрашивать, что со мною. Я, не отвечая ей, села на диван, и мне захотелось плакать. «И что он это передумывает? – думала я. – Какой-нибудь вздор, который ему кажется важен, а попробуй сказать мне, я покажу ему, что всё пустяки. Нет, ему нужно думать, что я не пойму, нужно унижать меня своим величавым спокойствием и всегда быть правым со мною. Зато и я права, когда мне скучно, пусто, когда я хочу жить, двигаться, – думала я, – а не стоять на одном месте и чувствовать, как время идет через меня. Я хочу идти вперед и с каждым днем, с каждым часом хочу нового, а он хочет остановиться и меня остановить с собой. А как бы ему легко было! Для этого не нужно ему везти меня в город, для этого нужно только быть таким, как я, не ломать себя, не удерживаться, а жить просто. Это самое он советует мне, а сам он не прост. Вот что!»

Я чувствовала, что слезы подступают мне к сердцу, и что я раздражена на него. Я испугалась этого раздражения и пошла к нему. Он сидел в кабинете и писал. Услышав мои шаги, он оглянулся на мгновение равнодушно, спокойно и продолжал писать. Этот взгляд мне не понравился; вместо того, чтобы подойти к нему, я стала к столу, у которого он писал, и, раскрыв книгу, стала смотреть в нее. Он еще раз оторвался и поглядел на меня.

– Маша! ты не в духе? – сказал он.

Я ответила холодным взглядом, который говорил: «нечего спрашивать! что за любезности?» Он покачал головой и робко, нежно улыбнулся, но в первый раз еще моя улыбка не ответила на его улыбку.

– Что у тебя было нынче? – спросила я: – отчего ты не сказал мне?

– Пустяки! маленькая неприятность, – отвечал он. – Однако теперь я могу рассказать тебе. Два мужика отправились в город...

Но я не дала ему досказать.

– Отчего ты не рассказал мне тогда еще, когда за чаем я спрашивала?

– Я бы тебе сказал глупость, я был сердит тогда.

– Тогда-то мне и нужно было.

– Зачем?

– Отчего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?

– Как думаю? – сказал он, бросая перо. – Я думаю, что без тебя я жить не могу. Во всем, во всем не только ты мне помогаешь, но ты всё делаешь. Вот хватилась! – засмеялся он. – Тобой я живу только. Мне кажется всё хорошо только оттого, что ты тут, что тебя надо...

– Да, это я знаю, я милый ребенок, которого надо успокаивать, – сказала я таким тоном, что он удивленно, как будто в первый раз что

увидел, посмотрел на меня. – Я не хочу спокойствия, довольно его в тебе, очень довольно, – прибавила я.

– Ну, вот видишь ли, в чем дело, – начал он торопливо, перебивая меня, видимо боясь дать мне всё выговорить: – как бы ты рассудила его?

– Теперь не хочу, – отвечала я. Хотя мне и хотелось слушать его, но мне так приятно было разрушить его спокойствие. – Я не хочу играть в жизнь, я хочу жить, – сказала я, – так же, как и ты.

На лице его, на котором всё так быстро и живо отражалось, выразилась боль и усиленное внимание.

– Я хочу жить с тобой ровно, с тобой...

Но я не могла договорить: такая грусть, глубокая грусть выразилась на его лице. Он помолчал немного.

– Да чем же неровно ты живешь со мной? – сказал он: – тем, что я, а не ты, вожусь с исправником и пьяными мужиками...

– Да не в одном этом, – сказала я.

– Ради Бога пойми меня, мой друг, – продолжал он, – я знаю, что от тревог нам бывает всегда больно, я жил и узнал это. Я тебя люблю и следовательно не могу не желать избавить тебя от тревог. В этом моя жизнь, в любви к тебе: стало быть, и мне не мешай жить.

– Ты всегда прав! – сказала я, не глядя на него.

Мне было досадно, что опять у него в душе всё ясно и покойно, когда во мне была досада и чувство, похожее на раскаяние.

– Маша! Что с тобой? – сказал он. – Речь не о том, я ли прав или ты права, а совсем о другом: что у тебя против меня? Не вдруг говори, подумай и скажи мне всё, что ты думаешь. Ты недовольна мной, и ты, верно, права, но дай мне понять, в чем я виноват.

Но как я могла сказать ему мою душу? То, что он так сразу понял меня, что опять я была ребенок перед ним, что ничего я не могла сделать, чего бы он не понимал и не предвидел, еще больше взволновало меня.

– Ничего я не имею против тебя, – сказала я. – Просто мне скучно и хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо, и опять ты прав!

Я сказала это и взглянула на него. Я достигла своей цели, спокойствие его исчезло, испуг и боль были на его лице.

– Маша, – заговорил он тихим, взволнованным голосом. – Это не шутки то, что мы делаем теперь. Теперь решается наша судьба. Я прошу тебя ничего не отвечать мне и выслушать. За что ты хочешь мучить меня?

Но я перебила его.

– Я знаю, ты будешь прав. Не говори лучше, ты прав, – сказала я холодно, как будто не я, а какой-то злой дух говорил во мне.

– Если бы ты знала, что ты делаешь! – сказал он дрожащим голосом.

Я заплакала, и мне стало легче. Он сидел подле меня и молчал. Мне было и жалко его, и совестно за себя, и досадно за то, что я сделала. Я не глядела на него. Мне казалось, что он должен или строго, или недоумевающе смотреть на меня в эту минуту. Я оглянулась: кроткий, нежный взгляд, как бы просящий прощения, был устремлен на меня. Я взяла его за руку и сказала:

– Прости меня! Я сама не знаю, что я говорила.

– Да; но я знаю, что ты говорила, и ты правду говорила.

– Что? – спросила я.

– Что нам надо в Петербург ехать, – сказал он. – Нам тут теперь делать нечего.

– Как хочешь, – сказала я.

Он обнял меня и поцеловал.

– Ты прости меня, – сказал он. – Я виноват перед тобою.

В этот вечер я долго играла ему, а он ходил по комнате и шептал что-то. Он имел привычку шептать, и я часто спрашивала у него, что он шепчет, и он всегда, подумав, отвечал мне именно то, что он шептал: большею частью стихи и иногда ужасный вздор, но такой вздор, по которому я знала настроение его души.

– Что ты нынче шепчешь? – спросила я.

Он остановился, подумал и, улыбнувшись, отвечал два стиха Лермонтова:

.....А он безумный просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

«Нет, он больше, чем человек; он всё знает! – подумала я: – как не любить его!»

Я встала, взяла его за руку и вместе с ним начала ходить, стараясь попадать ногу в ногу.

– Да? – спросил он улыбаясь, глядя на меня.

– Да, – сказала я шопотом; и какое-то веселое расположение духа охватило нас обоих, глаза наши смеялись, и мы шаги делали всё больше и больше, и всё больше и больше становились на цыпочки. И тем же шагом, к великому негодованию Григория и удивлению мамыши, которая раскладывала пасьянс в гостиной, отправились через все комнаты в столовую, а там остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

Через две недели, перед праздником, мы были в Петербурге.

VII.

Наша поездка в Петербург, неделя в Москве, его, мои родные, устройство на новой квартире, дорога, новые города, лица, – всё это прошло как сон. Всё это было так разнообразно, ново, весело, всё это так тепло и ярко освещено было его присутствием, его любовью, что тихое деревенское житье показалось мне чем-то давнишним и ничтожным. К великому удивлению моему, вместо светской гордости и холодности, которую я ожидала найти в людях, все встречали меня так неподдельно-ласково и радостно (не только родные, но и незнакомые), что, казалось, они все только обо мне и думали, только меня ожидали, чтоб им самим было хорошо. Тоже неожиданно для меня и в кругу светском и казавшемся мне самым лучшим; у мужа открылось много знакомых, о которых он никогда не говорил мне; и часто мне странно и неприятно было слышать от него строгие суждения о некоторых из этих людей, казавшихся мне такими добрыми. Я не могла понять, зачем он так сухо обращался с ними и старался избегать многих знакомств, казавшихся мне лестными. Мне казалось, чем больше знаешь добрых людей, тем лучше, а все были добрые.

– Вот видишь ли, как мы устроимся, – говорил он перед отъездом из деревни: – мы здесь маленькие Крезы, а там мы будем очень небогаты, а потому нам надо жить в городе только до Святой и не ездить в свет, иначе запутаемся; да и для тебя я не хотел бы....

– Зачем свет? – отвечала я: – только посмотрим театры, родных, послушаем оперу и хорошую музыку и еще раньше Святой вернемся в деревню.

Но как только мы приехали в Петербург, планы эти были забыты. Я очутилась вдруг в таком новом счастливом мире, так много радостей охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что я сразу, хотя и бессознательно, отреклась от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. «То было всё так, шутки; еще не начиналось; а вот она настоящая жизнь! Да еще что будет?» думала я. Беспокойство и начало тоски, тревожившие меня в деревне, вдруг, как

волшебством, совершенно исчезли. Любовь к мужу сделалась спокойнее, и мне здесь никогда не приходила мысль о том, не меньше ли он любит меня? Да я и не могла сомневаться в его любви, всякая моя мысль была тотчас понята, чувство разделено, желание исполнено им. Спокойствие его исчезло здесь или не раздражало меня более. Притом я чувствовала, что он, кроме своей прежней любви ко мне, здесь еще и любит меня мной. Часто после визита, нового знакомства или вечера у нас, где я, внутренне дрожа от страха ошибиться, исполняла должность хозяйки дома, он говаривал: «Ай да девочка! славно! не робей. Право, хорошо!» И я бывала очень рада. Скоро после нашего приезда он писал письмо к матери, и когда позвал меня приписать от себя, то не хотел дать прочесть, что написано было, вследствие чего я, разумеется, потребовала и прочла. «Вы не узнаете Маши, – писал он, – и я сам не узнаю ее. Откуда берется эта милая, грациозная самоуверенность, афобельность, даже светский ум и любезность. И всё это просто, мило, добродушно. Все от нее в восторге, да я и сам не налюбуюсь на нее, и ежели бы можно было, полюбил бы еще больше».

«А! так вот я какая!» подумала я. И так мне весело и хорошо стало, показалось даже, что я еще больше люблю его. Мой успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке, тут тетюшка без ума от меня, тот говорит мне, что мне нет подобных женщин в Петербурге, та уверяет меня, что мне стоит захотеть, чтобы быть самую изысканную женщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Д., немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову. Когда в первый раз кузина пригласила меня ехать на бал и просила об этом мужа, он обратился ко мне и, чуть заметно, хитро улыбаясь, спросил: хочу ли я ехать? Я кивнула головой в знак согласия и почувствовала, что покраснела.

– Точно преступница признается, чего ей хочется, – сказал он, добродушно смеясь.

– Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет, да и ты не любишь, – отвечала я, улыбаясь и умоляющим взглядом глядя на него.

– Ежели очень хочется, то поедем, – сказал он.

– Право, лучше не надо.

– Хочется? очень? – снова спросил он.

Я не отвечала.

– Свет еще небольшое горе, – продолжал он, – а светские неосуществленные желания – это и дурно, и некрасиво. Непременно надо ехать, и поедем, – решительно заключил он.

– Правду тебе сказать, – сказала я, – мне ничего в мире так не хотелось, как этого бала.

Мы поехали, и удовольствие, испытанное много, превзошло все мои

ожидания. На бале еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого всё движется, что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка и собралась эта толпа людей, восхищающихся мною. Все, начиная от парикмахера и горничной и до танцоров и стариков, проходивших через залу, казалось, говорили мне или давали чувствовать, что они любят меня. Общее суждение, составившееся обо мне на этом бале и переданное мне кухней, состояло в том, что я совсем непохожа на других женщин, что во мне есть что-то особенное, деревенское, простое и прелестное. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на два, на три бала, «и с тем, чтобы хорошенько насытиться ими», прибавила я, покривив душою.

Муж охотно согласился и первое время ездил со мною с видимым удовольствием, радуясь моим успехам и, казалось, совершенно забыв или отрекшись от того, что говорил прежде.

Впоследствии он, видимо, стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того; ежели я и замечала иногда его внимательно-серьезный взгляд, вопросительно устремленный на меня, я не понимала его значения. Я так была отуманена этою, внезапно возбужденною, как мне казалось, любовью ко мне во всех посторонних, этим воздухом изящества, удовольствий и новизны, которым я дышала здесь в первый раз, так вдруг исчезло здесь его, подавлявшее меня, моральное влияние, так приятно мне было в этом мире не только сравняться с ним, но стать выше его, и за то любить его еще больше и самостоятельнее, чем прежде, что я не могла понять, что неприятного он мог видеть для меня в светской жизни. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня, а он, как будто совестясь признаваться перед толпою в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. «Постой! – часто думала я, отыскивая глазами в конце залы его незамеченную, иногда скучающую фигуру, – постой! – думала я, – приедем домой, и ты поймешь и увидишь, для кого я старалась быть хороша и блестяща, и что я люблю из всего того, что окружает меня нынешний вечер». Мне самой искренно казалось, что успехи мои радовали меня только для него, только для того, чтобы быть в состоянии жертвовать ему ими. Одно, чем могла быть вредна для меня светская жизнь, думала я, была возможность увлечения одним из людей, встречаемых мною в свете, и ревность моего мужа; но он так верил в меня, казался так спокоен и равнодушен, и все эти молодые люди казались мне так ничтожны в сравнении с ним, что и единственная, по моим понятиям, опасность света не казалась страшна мне. Но, несмотря на то, внимание многих людей в свете доставляло мне удовольствие, льстило самолюбию, заставляло думать, что есть некоторая заслуга в моей любви к мужу, и делало мое обращение с ним самоувереннее и как будто небрежнее.

– А я видела, как ты что-то очень оживленно разговаривал с Н. Н., – однажды возвращаясь с бала, сказала я, грозя ему пальцем и называя одну из известных дам Петербурга, с которою он действительно говорил в этот вечер. Я сказала это, чтобы расшевелить его; он был особенно молчалив и скупен.

– Ах, зачем так говорить? И говоришь ты, Маша! – пропустил он сквозь зубы и морщась как будто от физической боли. – Как это нейдет тебе и мне! Оставь это другим; эти ложные отношения могут испортить наши настоящие, а я еще надеюсь, что настоящие вернутся.

Мне стало стыдно, и я замолчала.

– Вернутся, Маша? Как тебе кажется? – спросил он.

– Они никогда не портились и не испортятся, – сказала я, и тогда мне точно так казалось.

– Дай-то Бог, – проговорил он, – а то пора бы нам в деревню.

Но это только один раз сказал он мне, остальное же время мне казалось, что ему было так же хорошо, как и мне, а мне было так радостно и весело. Если же ему и скучно иногда, – утешала я себя, – то и я поскучала для него в деревне; если же и изменились несколько наши отношения, то всё это снова вернется, как только мы летом останемся одни с Татьяной Семеновной в нашем Никольском доме.

Так незаметно для меня прошла зима, и мы, против наших планов, даже Святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, всё было уложено, и муж, делавший уже покупки подарков, вещей, цветов для деревенской жизни, был в особенно нежном и веселом расположении духа, кузина неожиданно приехала к нам и стала просить остаться до субботы, с тем чтоб ехать на раут к графине Р. Она говорила, что графиня Р. очень звала меня, что бывший тогда в Петербурге принц М. еще с прошлого бала желал познакомиться со мной, только для этого и ехал на раут и говорил, что я самая хорошенькая женщина в России. Весь город должен был быть там, и, одним словом, ни на что бы не было похоже, ежели я бы не поехала.

Муж был на другом конце гостиной, разговаривая с кем-то.

– Так что ж, едете, Мари? – сказала кузина.

– Мы послезавтра хотели ехать в деревню, – нерешительно отвечала я, взглянув на мужа. Глаза наши встретились, он торопливо отвернулся.

– Я уговорю его остаться, – сказала кузина, – и мы едем в субботу кружить головы. Да?

– Это бы расстроило наши планы, а мы уложились, – отвечала я, начиная сдаваться.

– Да ей бы лучше нынче вечером съездить на поклон принцу, – с другого конца комнаты сказал муж раздраженно-сдержанным тоном, которого я еще не слыхала от него.

– Ах! он ревнует, вот в первый раз вижу, – засмеялась кузина. – Да ведь не для принца, Сергей Михайлович, а для всех нас я уговариваю ее. Как графиня Р. просила ее приехать!

– Это от нее зависит, – холодно проговорил муж и вышел.

Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно; это меня мучило, и я ничего не обещала кухне. Только что она уехала, я пошла к мужу. Он задумчиво ходил взад и вперед и не видал и не слышал, как я на цыпочках вошла в комнату.

«Ему уж представляется милый Никольский дом, – думала я, глядя на него, – и утренний кофе в светлой гостиной, и его поля, мужики, и вечера в диванной, и ночные таинственные ужины. – Нет! – решила я сама с собой, – все балы на свете и лесть всех принцев на свете отдам я за его радостное смущение, за его тихую ласку». Я хотела сказать ему, что не поеду на раут и не хочу, когда он вдруг оглянулся и, увидав меня, нахмурился и изменил кротко-задумчивое выражение своего лица. Опять пронизательность, мудрость и покровительственное спокойствие выразились в его взгляде. Он не хотел, чтоб я видела его простым человеком; ему нужно было полубогом на пьедестале всегда стоять передо мной.

– Что ты, мой друг? – спросил он, небрежно и спокойно оборачиваясь ко мне.

Я не отвечала. Мне было досадно, что он прячется от меня, не хочет оставаться тем, каким я любила его.

– Ты хочешь ехать в субботу на раут? – спросил он.

– Хотела, – отвечала я, – но тебе это не нравится. Да и всё уложено, – прибавила я.

Никогда он так холодно не смотрел на меня, никогда так холодно не говорил со мной.

– Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, – проговорил он, – поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду.

Как и всегда, когда он бывал взволнован, он неровно стал ходить по комнате и не глядел на меня.

– Я решительно тебя не понимаю, – сказала я, стоя на месте и глазами следя за ним, – ты говоришь, что ты всегда так спокоен (он никогда не говорил этого). Отчего ты так странно говоришь со мной? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием, а ты как-то иронически, как ты никогда не говорил со мной, требуешь, чтоб я ехала.

– Ну что ж! Ты жертвуешь (он особенно ударил на это слово), и я жертвую, чего же лучше. Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастья?

В первый раз еще я слышала от него такие ожесточенно-насмешливые слова. И насмешка его не пристыдила, а оскорбила меня, и ожесточение не испугало меня, а сообщило мне. Он ли, всегда боявшийся фразы в наших отношениях, всегда искренний и простой, говорил это? И за что?

За то, что точно я хотела пожертвовать ему удовольствием, в котором не могла видеть ничего дурного, и за то, что за минуту перед этим я так понимала и любила его. Роли наши переменялись, он – избегал прямых и простых слов, а я искала их.

– Ты очень переменялся, – сказала я, вздохнув. – Чем я провинилась перед тобой? Не раут, а что-то другое старое есть у тебя на сердце против меня. Зачем неискренность? Не сам ли ты так боялся ее прежде. Говори прямо, что ты имеешь против меня? – «Что-то он скажет», думала я, с самодовольством вспоминая, что нечем ему было упрекнуть меня за всю эту зиму.

Я вышла на середину комнаты, так что он должен был близко пройти мимо меня, и смотрела на него. «Он подойдет, обнимет меня, и всё будет кончено», пришло мне в голову, и даже жалко стало, что не придется доказать ему, как он неправ. Но он остановился на конце комнаты и поглядел на меня.

– Ты всё не понимаешь? – сказал он.

– Нет.

– Ну так я скажу тебе. Мне мерзко, в первый раз мерзко, то, что я чувствую и что не могу не чувствовать. – Он остановился, видимо испугавшись грубого звука своего голоса.

– Да что ж? – со слезами негодования в глазах спросила я.

– Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькою, и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства; напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты жертвуешь, то есть «показаться его высочеству для меня большое счастье, но я жертвую им».

Чем дальше он говорил, тем больше разгорался от звуков собственного голоса, и голос этот звучал ядовито, жестко и грубо. Я никогда не видала и не ожидала видеть его таким; кровь прилила мне к сердцу, я боялась, но вместе с тем чувство незаслуженного стыда и оскорбленного самолюбия волновало меня, и мне хотелось отомстить ему.

– Я давно ожидала этого, – сказала я, – говори, говори.

– Не знаю, чего ты ожидала, – продолжал он, – я мог ожидать всего худшего, видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши глупого общества; и дождался... Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда; больно за себя, когда твой друг своими грязными руками залез мне в сердце и стал говорить о ревности, моей ревности, к кому же? к человеку, которого ни я, ни ты не знаем. А ты, как нарочно, хочешь не понимать меня и хочешь жертвовать мне, чем же?... Стыдно за тебя, за твое унижение стыдно!.. Жертва! – повторил он.

«А! так вот она власть мужа, – подумала я. – Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Вот в чем права мужа, но я не подчинюсь им».

– Нет, я ничем не жертвую тебе, – проговорила я, чувствуя, как неестественно расширяются мои ноздри, и кровь оставляет лицо. – Я поеду в субботу на раут, и непременно поеду.

– И дай Бог тебе много удовольствия, только между нами всё кончено! – прокричал он в порыве уже несдержанного бешенства. – Но больше уже ты не будешь мучить меня. Я был дурак, что... – снова начал он, но губы у него затряслись, и он с видимым усилием удержался, чтобы не договорить того, что начал.

Я боялась и ненавидела его в эту минуту. Я хотела сказать ему многое и отомстить за все оскорбления; но ежели бы я открыла рот, я бы заплакала и уронила бы себя перед ним. Я молча вышла из комнаты. Но только что я перестала слышать его шаги, как вдруг ужаснулась перед тем, что мы сделали. Мне стало страшно, что точно навеки разорвется эта связь, составлявшая всё мое счастье, и я хотела вернуться. «Но достаточно ли он успокоился, чтобы понять меня, когда я молча протяну ему руку и посмотрю на него? – подумала я. – Поймет ли он мое великодушие? Что ежели он назовет притворством мое горе? Или с сознанием правоты и с гордым спокойствием примет мое раскаяние и простит меня? И за что, за что он, которого я так любила, так жестоко оскорбил меня?..»

Я пошла не к нему, а в свою комнату, где долго сидела одна и плакала, с ужасом вспоминая каждое слово бывшего между нами разговора, заменяя эти слова другими, прибавляя другие, добрые слова и снова с ужасом и чувством оскорбления вспоминая то, что было. Когда я вечером вышла к чаю и при С., который был у нас, встретила с мужем, я почувствовала, что с нынешнего дня целая бездна открылась между нами. С. спросил меня, когда мы едем? Я не успела ответить.

– Во вторник, – отвечал муж: – мы еще едем на раут к графине Р. Ведь ты едешь? – обратился он ко мне.

Я испугалась звука этого простого голоса и робко оглянулась на мужа. Глаза его смотрели прямо на меня, взгляд их был зол и насмешлив, голос был ровен и холоден.

– Да, – отвечала я.

Вечером, когда мы остались одни, он подошел ко мне и протянул руку.

– Забудь, пожалуйста, что я наговорил тебе, – сказал он.

Я взяла его руку, дрожащая улыбка была у меня на лице, и слезы готовы были потечь из глаз, но он отнял руку и, как будто боясь чувствительной сцены, сел на кресло довольно далеко от меня. «Неужели он всё считает себя правым?» подумала я, и готовое объяснение и просьба не ехать на раут остановились на языке.

– Надо написать матушке, что мы отложили отъезд, – сказал он, – а то она будет беспокоиться.

– А когда ты думаешь ехать? – спросила я.

– Во вторник, после раута, – отвечал он.

– Надеюсь, что это не для меня, – сказала я, глядя ему в глаза, но глаза только смотрели, а ничего не говорили мне, как будто чем-то заволочены они были от меня. Лицо его вдруг мне показалось старо и неприятно.

Мы поехали на раут, и между нами, казалось, установились опять хорошие дружелюбные отношения; но отношения эти были совсем другие, чем прежде.

На рауте я сидела между дамами, когда принц подошел ко мне, так что я должна была встать, чтобы говорить с ним. Вставая, я невольно отыскивала глазами мужа и видела, что он с другого конца залы смотрел на меня и отвернулся. Мне вдруг так стало стыдно и больно, что я болезненно смутилась и покраснела лицом и шеей под взглядом принца. Но я должна была стоять и слушать, что он говорил мне, сверху оглядывая меня. Разговор наш был не долог, ему негде было сесть подле меня, и он, верно, почувствовал, что мне очень неловко с ним. Разговор был о прошлом бале, о том, где я живу лето, и т. д. Отходя от меня, он изъявил желание познакомиться с моим мужем, и я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц, верно, что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в нашу сторону.

Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. Я тоже покраснела, мне стыдно стало за то понятие, которое должен был получить принц обо мне и особенно о муже. Мне показалось, что все заметили мою неловкую застенчивость в то время, как я говорила с принцем, заметили его странный поступок; Бог знает, как они могли объяснить это; уж и не знают ли они нашего разговора с мужем? Кузина довезла меня домой, и дорогой мы разговорились с ней о муже. Я не утерпела и рассказала ей всё, что было между нами по случаю этого несчастного раута. Она успокоивала меня, говоря, что это ничего незначущая, очень обыкновенная размолвка, которая не оставит никаких следов; объяснила мне с своей точки зрения характер мужа, нашла, что он очень несообщителен и горд стал; я согласилась с ней, и мне показалось, что и спокойнее и лучше сама теперь стала понимать его.

Но потом, когда мы остались вдвоем с мужем, этот суд о нем, как преступление, лежал у меня на совести, и я почувствовала, что еще больше сделалась пропасть, теперь отделявшая нас друг от друга.

VIII.

С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Нам уже не так хорошо было наедине, как прежде. Были вопросы, которые мы обходили, и при третьем лице нам легче говорилось, чем с глазу на глаз. Как только речь заходила о жизни в деревне или о бале, у нас как будто мальчики бегали в глазах, и неловко было смотреть друг на друга. Как будто мы оба чувствовали, в каком месте была пропасть, отделявшая нас, и боялись подходить к ней. Я была убеждена, что он горд и вспыльчив, и надо быть осторожнее, чтобы не задеть его слабости. Он был уверен, что я не могу жить без света, что деревня не по мне, и что надо покоряться этому несчастному вкусу. И мы оба избегали прямых разговоров об этих предметах, и оба ложно судили друг друга. Мы уже давно перестали быть друг для друга совершеннейшими людьми в мире, а делали сравнения с другими и втайне судили один другого. Я сделалась нездорова перед отъездом, и вместо деревни мы переехали на дачу, откуда муж один поехал к матери. Когда он уезжал, я уже достаточно оправилась, чтоб ехать с ним, но он уговаривал меня остаться, как будто боясь за мое здоровье. Я чувствовала, что он боялся не за мое здоровье, а за то, что нам нехорошо будет в деревне; я не очень настаивала и осталась. Без него мне было пусто, одиноко, но когда он приехал, я увидела, что и он уже не прибавлял к моей жизни того, что прибавлял прежде. Прежние наши отношения, когда, бывало, всякая непереданная ему мысль, впечатление, как преступление, тяготили меня, когда всякий его поступок, слово казались мне образцом совершенства, когда нам от радости смеяться чему-то хотелось, глядя друг на друга, эти отношения так незаметно перешли в другие, что мы и не хватились, как их не стало. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Мы привыкли к этой мысли, и через год мальчики даже перестали бегать в глазах, когда мы смотрели друг на друга. Исчезли совершенно его припадки веселия со мной, ребячество, исчезло его всепрощение и равнодушие ко всему, прежде возмущавшие меня, не стало больше этого глубокого взгляда, который прежде смущал и радовал меня, не стало молитв, восторгов вместе, мы даже не часто виделись, он был постоянно в разъездах и не боялся, не жалел оставлять меня одну; я была постоянно в свете, где мне не нужно было его.

Сцен и размолвок больше не бывало между нами, я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга.

Когда мы оставались одни, что случалось редко, я не испытывала с ним ни радости, ни волнения, ни замешательства, как будто я сама с собой оставалась. Я знала очень хорошо, что это был муж мой, не какой-нибудь новый, неизвестный человек, а хороший человек, – муж мой, которого я знала, как самое себя. Я была уверена, что знала всё, что он сделает, что скажет, как посмотрит; и ежели он делал или смотрел не так, как я ожидала, то мне уже казалось, что это он ошибся. Я ничего не ждала от него. Одним словом, это был мой муж и больше ничего. Мне казалось, что это так и должно быть, что не бывает других и между нами даже не было никогда других отношений. Когда он уезжал, особенно первое время, мне становилось одиноко, страшно, я без него чувствовала сильнее значение для меня его опоры; когда он

приезжал, я бросалась ему на шею от радости, хотя через два часа совершенно забывала эту радость, и нечего мне было говорить с ним. Только в минуты тихой, умеренной нежности, которые бывали между нами, мне казалось, что что-то не то, что что-то больно мне в сердце, и в его глазах, мне казалось, я читала то же. Мне чувствовалась эта граница нежности, за которую теперь он как будто не хотел, а я не могла переходить. Иногда мне это грустно было, но некогда было задумываться над чем бы то ни было, и я старалась забыть эту грусть неясно чувствуемой перемены в развлечениях, которые постоянно готовы были мне. Светская жизнь, сначала отуманившая меня блеском и лестью самолюбия, скоро завладела вполне моими наклонностями, вошла в привычки, наложила на меня свои оковы и заняла в душе всё то место, которое было готово для чувства. Я никогда уже не оставалась одна сама с собой и боялась вдумываться в свое положение. Всё время мое от позднего утра и до поздней ночи было занято и принадлежало не мне, даже ежели бы я не выезжала. Мне это было уже не весело и не скучно, а казалось, что так, а не иначе всегда должно было быть.

Так прошло три года, во время которых отношения наши оставались те же, как будто остановились, застыли и не могли сделаться ни хуже, ни лучше. В эти три года в нашей семейной жизни случились два важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были рождение моего первого ребенка и смерть Татьяны Семеновны. Первое время материнское чувство с такою силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня; но через два месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына, стал прежним, кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка, и заставляла мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня, и мне становилось совестно. Я вдруг ужасалась своего равнодушия к ребенку и спрашивала себя: «Неужели я хуже других женщин? Но что ж делать? – думала я, – я люблю сына, но не могу же сидеть с ним целые дни, мне скучно; а притворяться я ни за что не стану». Смерть его матери была для него большим горем; ему тяжело было, как он говорил, после нее жить в Никольском, а хотя мне и жалко было ее, и я сочувствовала горю мужа, мне было теперь приятнее и спокойнее в деревне. Все эти три года мы провели большею частью в городе, в деревню я ездила только раз на два месяца, и на третий год мы поехали за границу.

Мы проживали лето на водах.

Мне было тогда двадцать один год, состояние наше, я думала, было в цветущем положении, от семейной жизни я не требовала ничего сверх того, что она мне давала; все, кого я знала, мне казалось, любили меня; здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах, я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело. Я не так была весела, как бывала в Никольском, когда я чувствовала, что я счастлива сама в себе, что я счастлива потому, что заслужила это

счастье, что счастье мое велико, но должно быть еще больше, что всё хочется еще и еще счастья. Тогда было другое; но и в это лето мне было хорошо. Мне ничего не хотелось, я ничего не надеялась, ничего не боялась, и жизнь моя, казалось мне, была полна, и на совести, казалось, было покойно. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других или даже от старого князя К., нашего посланника, который ухаживал за мной. Один был молодой, другой старый, один белокурый Англичанин, другой Француз с бородкой, все они мне были равны, но все они были мне необходимы. Это были всё одинаково безразличные лица, составлявшие радостную атмосферу жизни, окружавшую меня. Один только из них, итальянский маркиз Д., больше других обратил мое внимание своею смелостью в выражении восхищения передо мною. Он не пропускал никакого случая быть со мною, танцевать, ездить верхом, быть в казино и т. д., и говорить мне, что я хороша. Несколько раз я из окон видела его около нашего дома, и часто неприятный пристальный взгляд его блестящих глаз заставлял меня краснеть и оглядываться. Он был молод, хорош собой, элегантен и, главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Он поражал меня этим сходством, хотя в общем, в губах, во взгляде, в длинном подбородке, вместо прелести выражения доброты и идеального спокойствия моего мужа, у него было что-то грубое, животное. Я полагала тогда, что он страстно любит меня, и с гордым соблезнованием иногда думала о нем. Я иногда хотела успокоить его, перевести его в тон полудружеской тихой доверенности, но он резко отклонял от себя эти попытки и продолжал неприятно смущать меня своею невыражавшеюся, но всякую минуту готовую выразиться страстью. Хотя и не признаваясь себе, я боялась этого человека и против воли часто думала о нем. Муж мой был знаком с ним и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, для которых он был только муж своей жены, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и две недели не выходила из дома. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня приехала давно ожидаемая и известная своею красотой леди С. Около меня составилась круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей львицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и действительно, она была прелестна, но меня неприятно поразило самодовольство ее лица, и я сказала это. Мне этот день показалось скучно всё, что прежде было так весело. На другой день леди С. устроила поездку в замок, от которой я отказалась. Почти никто не остался со мной, и всё окончательно переменилось в моих глазах. Всё и все мне показались глупы и скучны, мне хотелось плакать, скорей кончить курс и ехать назад в Россию. В душе у меня было какое-то нехорошее чувство, но я еще себе не признавалась в нем. Я сказалась слабою и перестала показываться в большом обществе, только утром выходила изредка одна пить воды или с Л. М., русскою знакомой, ездила в окрестности. Мужа не было в это время; он поехал на несколько дней в Гейдельберг, ожидая конца моего курса, чтоб ехать в Россию, и изредка приезжал ко мне.

Однажды леди С. увлекла всё общество на охоту, а мы с Л. М. после обеда поехали в замок. Покуда мы шагом въезжали в коляске по извилистому шоссе между вековыми каштанами, сквозь которые дальше и дальше открывались эти хорошенькие элегантные баденские окрестности,

освещенные заходящими лучами солнца, мы разговорились серьезно, как мы не говорили никогда. Л. М., которую уже я давно знала, в первый раз представилась мне теперь хорошою, умною женщиною, с которою можно говорить всё и с которою приятно быть другом. Мы говорили про семью, детей, про пустоту здешней жизни, нам захотелось в Россию, в деревню, и как-то грустно и хорошо стало. Под влиянием этого же серьезного чувства мы вошли в замок. В стенах было тенисто, свежо, вверху по развалинам играло солнце, слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась эта прелестная, но холодная для нас, Русских, баденская картина. Мы сели отдохнуть и молча смотрели на заходящее солнце. Голоса послышались явственнее, и мне показалось, что назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые; это был маркиз Д. и Француз, его приятель, которого я тоже знала. Они говорили про меня и про леди С. Француз сравнивал меня и ее и разбирали красоту той и другой. Он не говорил ничего оскорбительного, но у меня кровь прилила к сердцу, когда я расслышала его слова. Он подробно объяснял, что было хорошего во мне и что хорошего в леди С. У меня уж был ребенок, а леди С. было девятнадцать лет, у меня коса была лучше, но зато у леди стан был грациознее, леди большая дама, тогда как «ваша, сказал он, так себе, одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь». Он заключил тем, что я прекрасно делаю, не пытаюсь бороться с леди С., и что я окончательно похоронена в Бадене.

– Мне ее жаль.

– Ежели только она не захочет утешиться с вами, – прибавил он с веселым и жестоким смехом.

– Ежели она уедет, я поеду за ней, – грубо проговорил голос с итальянским акцентом.

– Счастливый смертный! он еще может любить! – засмеялся Француз.

– Любить! – сказал голос и помолчал. – Я не могу не любить! без этого нет жизни. – Делать роман из жизни одно, что есть хорошего. И мой роман никогда не останавливается в середине, и этот я доведу до конца.

– Bonne chance, mon ami, – проговорил Француз.

Дальше уже мы не слыхали, потому что они зашли за угол, и мы с другой стороны услышали их шаги. Они сходили с лестницы и через несколько минут вышли из боковой двери и весьма удивились, увидав нас. Я покраснела, когда маркиз Д. подошел ко мне, и мне страшно стало, когда, выходя из замка, он подал мне руку. Я не могла отказаться, и мы сзади Л. М., которая шла с его другом, пошли к коляске. Я была оскорблена тем, что сказал про меня Француз, хотя втайне сознавала, что он только назвал то, что я сама чувствовала; но слова маркиза удивили и возмутили меня своею грубостью. Меня мучила мысль, что я слышала его слова, и, несмотря на то, он не боится меня. Мне гадко было чувствовать его так близко от себя; и, не глядя на него, не отвечая ему и стараясь держать руку так, чтобы

не слышать его, я торопливо шла за Л. М. и Французом. Маркиз говорил что-то о прекрасном виде, о неожиданном счастье встретить меня и еще что-то, но я не слушала его. Я думала в это время о муже, о сыне, о России; чего-то мне совестно было, чего-то жалко, чего-то хотелось, и я торопилась скорей домой, в свою одинокую комнату в Hôtel de Bade, чтобы на просторе обдумать всё то, что только сейчас поднялось у меня в душе. Но Л. М. шла тихо, до коляски было еще далеко, и мой кавалер, мне показалось, упорно уменьшал шаг, как будто пытаюсь останавливать меня. «Не может быть!» подумала я и решительно пошла скорее. Но положительно он удерживал меня и даже прижимал мою руку. Л. М. завернула за угол дороги, и мы были совершенно одни. Мне стало страшно.

— Извините, — сказала я холодно и хотела высвободить руку, но кружево рукава зацепилось за его пуговицу. Он, пригнувшись ко мне грудью, стал отстегивать его, и его пальцы без перчатки тронули мою руку. Какое-то новое мне чувство не то ужаса, не то удовольствия морозом пробежало по моей спине. Я взглянула на него с тем, чтобы холодным взглядом выразить всё презрение, которое я к нему чувствую; но взгляд мой выразил не то, он выразил испуг и волнение. Его горящие, влажные глаза, подле самого моего лица, страстно смотрели на меня, на мою шею, на мою грудь, его обе руки перебирали мою руку выше кисти, его открытые губы говорили что-то, говорили, что он меня любит, что я всё для него, и губы эти приближались ко мне, и руки крепче сжимали мои и жгли меня. Огонь пробежал по моим жилам, в глазах темнело, я дрожала, и слова, которыми я хотела остановить его, пересыхали в моем горле. Вдруг я почувствовала поцелуй на своей щеке и, вся дрожа и холодея, остановилась и смотрела на него. Не в силах ни говорить, ни двигаться, я, ужасаясь, ожидала и желала чего-то. Всё это продолжалось одно мгновение. Но это мгновение было ужасно! Я так видела его всего в это мгновение. Так понятно мне было его лицо: этот видневшийся из-под соломенной шляпы крутой низкий лоб, похожий на лоб моего мужа, этот красивый прямой нос с раздутыми ноздрями, эти длинные остро-припомаженные усы и бородка, эти гладко выбритые щеки и загорелая шея. Я ненавидела, я боялась его, такой чужой он был мне; но в эту минуту так сильно отзывались во мне волнение и страсть этого ненавистного, чужого человека! Так непреодолимо хотелось мне отдаться поцелуям этого грубого и красивого рта, объятиям этих белых рук с тонкими жилами и с перстнями на пальцах. Так тянуло меня броситься очертя голову в открывшуюся вдруг, притягивающую бездну запрещенных наслаждений...

«Я так несчастна, — думала я, — пускай же еще больше и больше несчастий собирается на мою голову».

Он обнял меня одною рукою и наклонился к моему лицу. «Пускай, пускай еще и еще накапливается стыд и грех на мою голову».

— Je vous aime,⁵ — прошептал он голосом, который был так похож на голос моего мужа. Мой муж и ребенок вспомнились мне, как давно бывшие дорогие существа, с которыми у меня всё кончено. Но вдруг в это время из-за поворота послышался голос Л. М., которая звала меня. Я опомнилась, вырвала свою руку и, не глядя на него, почти побежала за Л. М. Мы сели в коляску, и я тут только взглянула на него. Он

снял шляпу и спросил что-то, улыбаясь. Он не понимал того невыразимого отвращения, которое я испытывала к нему в эту минуту.

Жизнь моя показалась мне так несчастна, будущее так безнадежно, прошедшее так черно! Л. М. говорила со мной, но я не понимала ее слов. Мне казалось, что она говорит со мной только из жалости, чтобы скрыть презрение, которое я возбуждаю в ней. Во всяком слове, во всяком взгляде мне чудилось это презрение и оскорбительная жалость. Поцелуй стыдом жег мне щеку, и мысль о муже и ребенке была мне невыносима. Оставшись одна в своей комнате, я надеялась обдумать свое положение, но мне страшно было одной. Я не допила чаю, который мне подали, и, сама не зная зачем, с горячечной поспешностью стала тотчас же собираться с вечерним поездом в Гейдельберг к мужу.

Когда мы сели с девушкой в пустой вагон, машина тронулась, и свежий воздух пахнул на меня в окно, я стала опоминаться и яснее представлять себе свое прошедшее и будущее. Вся моя замужняя жизнь со дня переезда нашего в Петербург вдруг представилась мне в новом свете и укором легла мне на совесть. Я в первый раз живо вспомнила наше первое время в деревне, наши планы, в первый раз мне пришел в голову вопрос: какие же были его радости во всё это время? И я почувствовала себя виноватой перед ним. «Но зачем он не остановил меня, зачем лицемерил передо мной, зачем избегал объяснений, зачем оскорбил? – спрашивала я себя. – Зачем не употребил свою власть любви надо мной? Или он не любил меня?» Но как бы он ни был виноват, поцелуй чужого человека вот тут стоял на моей щеке, и я чувствовала его. Чем ближе и ближе я подъезжала к Гейдельбергу, тем яснее воображала мужа и тем страшнее мне становилось предстоящее свидание. «Я всё, всё скажу ему, всё выплачу перед ним слезами раскаяния, – думала я, – и он простит меня». Но я сама не знала, что такое «всё» я скажу ему, и сама не верила, что он простит меня.

Но только что я вошла в комнату к мужу и увидела его спокойное, хотя и удивленное лицо, я почувствовала, что мне нечего было говорить ему, не в чем признаваться и не в чем просить его прощения. Невысказанное горе и раскаяние должны были оставаться во мне.

– Как это ты вздумала? – сказал он: – а я завтра хотел к тебе ехать.
– Но, всмотревшись ближе в мое лицо, он как будто испугался. – Что ты? что с тобой? – проговорил он.

– Ничего, – отвечала я, едва удерживаясь от слез. – Я совсем приехала. Поедем хоть завтра домой в Россию.

Он довольно долго молча и внимательно посмотрел на меня.

– Да расскажи же, что с тобой случилось? – сказал он.

Я невольно покраснела и опустила глаза. В глазах его блеснуло чувство оскорбления и гнева. Я испугалась мыслей, которые могли придти ему, и с силой притворства, которой я сама не ожидала в себе, я сказала:

– Ничего не случилось, просто скучно и грустно стало одной, и я

много думала о нашей жизни и о тебе. Уж так давно я виновата перед тобой! За что ты едешь со мной туда, куда тебе не хочется? Давно уж я виновата перед тобой, – повторила я, и опять слезы мне навернулись на глаза. – Поедем в деревню и навсегда.

– Ах! мой друг, уволь от чувствительных сцен, – сказал он холодно: – что ты в деревню хочешь, это прекрасно, потому что и денег у нас мало; а что навсегда, то это мечта. Я знаю, что ты не уживешься. А вот чаю напейся, это лучше будет, – заключил он вставая, чтобы позвонить человеку.

Мне представлялось всё, что он мог думать обо мне, и я оскорбилась теми страшными мыслями, которые приписывала ему, встретив неверный и как будто пристыженный взгляд, устремленный на меня. Нет! он не хочет и не может понять меня! Я сказала, что пойду посмотреть ребенка, и вышла от него. Мне хотелось быть одной и плакать, плакать, плакать...

IX.

Давно нетопленный пустой никольский дом снова ожил, но не ожило то, что жило в нем. Мамаши уже не было, и мы одни были друг против друга. Но теперь нам не только не нужно было одиночество, оно уже стесняло нас. Зима прошла тем хуже для меня, что я была больна и оправилась только после родов второго моего сына. Отношения наши с мужем продолжали быть тоже холодно-дружелюбные, как и во время нашей городской жизни, но в деревне каждая половица, каждая стена, диван напоминали мне то, чем он был для меня, и то, что я утратила. Как будто непрощенная обида была между нами, как будто он наказывал меня за что-то и делал вид, что сам того не замечает. Просить прощения было не за что, просить помилования не отчего: он наказывал меня только тем, что не отдавал мне всего себя, всей своей души, как прежде; но и никому и ничему он не отдавал ее, как будто у него ее уже не было. Иногда мне приходило в голову, что он притворяется только таким, чтобы мучить меня, а что в нем еще живо прежнее чувство, и я старалась вызвать его. Но он всякий раз как будто избегал откровенности, как будто подозревал меня в притворстве и боялся, как смешного, всякой чувствительности. Взгляд и тон его говорили: всё знаю, всё знаю, нечего говорить, всё, что ты хочешь сказать, и то знаю. Знаю и то, что ты скажешь одно, а сделаешь другое. Сначала я оскорблялась этим страхом перед откровенностью, но потом привыкла к мысли о том, что это не неоткровенность, а отсутствие потребности в откровенности. У меня язык не повернулся бы теперь вдруг сказать ему, что я люблю его, или попросить его прочесть молитвы со мной, или позвать его слушать, как я играю. Между нами чувствовались уже известные условия приличия. Мы жили каждый порознь. Он со своими занятиями, в которых мне не нужно было и не хотелось теперь участвовать, я с своею праздностью, которая не оскорбляла и не печалила его, как прежде. Дети еще были слишком малы

и не могли еще соединять нас.

Но пришла весна, Катя с Соней приехали на лето в деревню, дом наш в Никольском стали перестраивать, мы переехали в Покровское. Тот же был старый Покровский дом с своею террасой, с сдвижным столом и фортепяно в светлой зале и моею бывшею комнатою с белыми занавесками и моими, как будто забытыми там, девичьими мечтами. В этой комнатке были две кровати, одна бывшая моя, в которой я по вечерам крестила раскидавшегося пухлого Кокошу, а другая маленькая, в которой из пеленок выглядывало личико Вани. Перекрестив их, я часто останавливалась посередине тихой комнатки, и вдруг изо всех углов, от стен, от занавесок поднимались старые, забытые молодые видения. Начинали петь старые голоса девические песни. И где эти видения? где эти милые, сладкие песни? Сбылось всё то, чего я едва смела надеяться. Неясные, сливающиеся мечты стали действительностью; а действительность стала тяжелою, трудною и безрадостною жизнью. А всё то же: тот же сад виден в окно, та же площадка, та же дорожка, та же скамейка вон там над оврагом, те же соловьиные песни несутся от пруда, те же сирени во всем цвету, и тот же месяц стоит над домом; а всё так страшно, так невозможно изменилось! Так холодно всё то, что могло быть так дорого и близко! Так же, как и в старину, мы тихо вдвоем, сидя в гостиной, говорим с Катей, и говорим о нем. Но Катя сморщилась, пожелтела, глаза ее не блестят радостью и надеждой, а выражают сочувствующую грусть и сожаление. Мы не восхищаемся им по-старому, мы судим его, мы не удивляемся, зачем и за что мы так счастливы, и не по-старому всему свету хотим рассказать то, что мы думаем; мы, как заговорщицы, шепчем друг с другом и сотый раз спрашиваем друг друга, зачем всё так грустно переменялось? И он всё тот же, только глубже морщина между его бровей, больше седых волос в его висках, но глубокий внимательный взгляд постоянно заволочен от меня тучей. Всё та же и я, но нет во мне ни любви, ни желания любви. Нет потребности труда, нет довольства собой. И так далеки и невозможны мне кажутся прежние религиозные восторги и прежняя любовь к нему, прежняя полнота жизни. Я не поняла бы теперь того, что прежде мне казалось так ясно и справедливо: счастье жить для другого. Зачем для другого? когда и для себя жить не хочется?

Я совершенно бросила музыку с тех самых пор, как переехала в Петербург; но теперь старое фортепяно, старые ноты снова приохотили меня.

Один день мне нездоровилось, я осталась одна дома; Катя и Соня поехали с ним вместе в Никольское смотреть новую постройку. Чайный стол был накрыт, я сошла вниз и, ожидая их, села за фортепяно. Я открыла сонату *quasi una fantasia* и стала играть ее. Никого не видно и не слышно было, окна были открыты в сад; и знакомые, грустно торжественные звуки раздавались в комнате. Я кончила первую часть и совершенно бессознательно, по старой привычке, оглянулась в тот угол, в котором он сживал, бывало, слушая меня. Но его не было; стул, давно не сдвинутый, стоял в своем углу; а в окно виднелся куст сирени на светлом закате, и свежесть вечера вливалась в открытые окна. Я облокотилась на фортепяно обеими руками, закрыла ими лицо и задумалась. Я долго сидела так, с болью вспоминая старое, невозвратимое и робко придумывая новое. Но впереди как будто уже

ничего не было, как будто я ничего не желала и не надеялась. «Неужели я отжила!» подумала я, с ужасом приподняла голову и, чтобы забыть и не думать, опять стала играть, и всё то же *andante*. «Боже мой! – подумала я, – прости меня, ежели я виновата, или возврати мне всё, что было так прекрасно в моей душе, или научи, что мне делать? как мне жить теперь?» Шум колес послышался по траве, и перед крыльцом, и на террасе послышались осторожные знакомые шаги и затихли. Но уже не прежнее чувство отозвалось на звук этих знакомых шагов. Когда я окончила, шаги послышались за мною, и рука легла на мое плечо.

– Какая ты умница, что сыграла эту сонату, – сказал он.

Я молчала.

– Ты не пила чай?

Я отрицательно покачала головой и не оглядывалась на него, чтобы не выдать следов волнения, оставшихся на моем лице.

– Они сейчас приедут; лошадь зашалила, и они сошли пешком от большой дороги, – сказал он.

– Подождем их, – сказала я и вышла на террасу, надеясь, что и он пойдет за мною; но он спросил про детей и пошел к ним. Опять его присутствие, его простой, добрый голос разуверил меня в том, что что-то утрачено мною. Чего же еще желать? Он добр, кроток, он хороший муж, хороший отец, я сама не знаю, чего еще недостает мне. Я вышла на балкон и села под полотно террасы на ту самую скамейку, на которой я сидела в день нашего объяснения. Уж солнце зашло, начинало смеркаться, и весенняя темная тучка висела над домом и садом, только из-за деревьев виднелся чистый край неба с потухавшею зарей и только что вспыхнувшею вечернею звездочкой. Надо всем стояла тень легкой тучки, и всё ждало тихого весеннего дождика. Ветер замер, ни один лист, ни одна травка не шевелилась, запах сирени и черемухи так сильно, как будто весь воздух цвел, стоял в саду и на террасе и наплывами то вдруг ослабевал, то усиливался, так что хотелось закрыть глаза и ничего не видеть, не слышать, кроме этого сладкого запаха. Георгины и кусты розанов еще без цвета, неподвижно вытянувшись на своей вскопанной черной рабатке, как будто медленно росли вверх по своим белым обструганным подставкам; лягушки изо всех сил, как будто напоследках перед дождем, который их загонит в воду, дружно и пронзительно трещали из-под оврага. Один какой-то тонкий непрерывный водяной звук стоял над этим криком. Соловьи перекликались вперемежку, и слышно было, как тревожно перелетали с места на место. Опять нынешнюю весну один соловей пытался поселиться в кусте под окном, и, когда я вышла, слышала, как он переместился за аллею и оттуда щелкнул один раз и затих, тоже ожидая.

Напрасно я себя успокаивала: я и ждала и жалела чего-то.

Он вернулся сверху и сел подле меня.

– Кажется, помочит наших, – сказал он.

– Да, – проговорила я, и мы оба долго молчали.

А туча без ветра всё опускалась ниже и ниже; всё становилось тише, пахучее и неподвижнее, и вдруг капля упала и как будто подпрыгнула на парусинном навесе террасы, другая разбилась на щебне дорожки; по лопуху шлепнуло, и закапал крупный, свежий, усиливающийся дождик. Соловьи и лягушки совсем затихли, только тонкий водяной звук, хотя и казался дальше из-за дождя, но всё стоял в воздухе, и какая-то птица, должно быть забившись в сухие листья недалеко от террасы, равномерно выводила свои две однообразные ноты. Он встал и хотел уйти.

– Куда ты? – спросила я, удерживая его. – Здесь так хорошо.

– Послать зонтик и калоши надо, – отвечал он.

– Не нужно, сейчас пройдет.

Он согласился со мной, и мы вместе остались у перил террасы. Я оперлась рукою на склизкую мокрую перекладину и выставила голову. Свежий дождик неровно кропил мне волосы и шею. Тучка, светлея и редая, проливалась над нами; ровный звук дождя заменился редкими каплями, падавшими сверху и с листьев. Опять внизу затрещали лягушки, опять встрепенулись соловьи и из мокрых кустов стали отзываться то с той, то с другой стороны. Всё просветлело перед нами.

– Как хорошо! – проговорил он, присаживаясь на перила и рукой проводя по моим мокрым волосам.

Эта простая ласка, как упрек, подействовала на меня, мне захотелось плакать.

– И чего еще нужно человеку? – сказал он. – Я теперь так доволен, что мне ничего не нужно, совершенно счастлив!

«Не так ты говорил мне когда-то про свое счастье, – подумала я. – Как ни велико оно было, ты говорил, что всё еще и еще чего-то хотелось тебе. А теперь ты спокоен и доволен, когда у меня в душе как будто невысказанное раскаяние и невыплаканные слезы».

– И мне хорошо, – сказала я, – но грустно именно оттого, что всё так хорошо передо мной. Во мне так несвязно, неполно, всё хочется чего-то; а тут так прекрасно и спокойно. Неужели и у тебя не примешивается какая-то тоска к наслаждению природой, как будто хочется чего-то невозможного, и жаль чего-то прошедшего.

Он принял руку с моей головы и помолчал немного.

– Да, прежде и со мной это бывало, особенно весной, – сказал он, как будто припоминая. – И я тоже ночи просиживал, желая и надеясь, и хорошие ночи!.. Но тогда всё было впереди, а теперь всё сзади; теперь с меня довольно того, что есть, и мне славно, – заключил он

так уверенно небрежно, что, как мне ни больно было слышать это, мне поверилось, что он говорит правду.

– И ничего тебе не хочется? – спросила я.

– Ничего невозможного, – отвечал он, угадывая мое чувство. – Ты вот мочишь голову, – прибавил он, как ребенка лаская меня, еще раз проводя рукой по моим волосам, – ты завидуешь и листьям, и траве за то, что их мочит дождик, тебе бы хотелось быть и травой, и листьями, и дождиком. А я только радуюсь на них, как на всё на свете, что хорошо, молодо и счастливо.

– И не жаль тебе ничего прошлого? – продолжала я спрашивать, чувствуя, что всё тяжелее и тяжелее становится у меня на сердце.

Он задумался и опять замолчал. Я видела, что он хотел ответить совершенно искренно.

– Нет! – отвечал он коротко.

– Неправда! неправда! – заговорила я, оборачиваясь к нему и глядя в его глаза. – Ты не жалеешь прошлого?

– Нет! – повторил он еще раз, – я благодарен за него, но не жалею прошлого.

– Но разве ты не желал бы воротить его? – сказала я.

Он отвернулся и стал смотреть в сад.

– Не желаю, как не желаю того, чтоб у меня выросли крылья, – сказал он. – Нельзя!

– И не поправляешь ты прошедшего? не упрекаешь себя или меня?

– Никогда! Всё было к лучшему!

– Послушай! – сказала я, дотрогиваясь до его руки, чтоб он оглянулся на меня. – Послушай, отчего ты никогда не сказал мне, что ты хочешь, чтобы я жила именно так, как ты хотел, зачем ты давал мне волю, которою я не умела пользоваться, зачем ты перестал учить меня? Ежели бы ты хотел, ежели бы ты иначе вел меня, ничего, ничего бы не было, – сказала я голосом, в котором сильней и сильней выразалась холодная досада и упрек, а не прежняя любовь.

– Чего бы не было? – сказал он удивленно, оборачиваясь ко мне: – и так ничего нет. Всё хорошо. Очень хорошо, – прибавил он, улыбаясь.

«Неужели он не понимает, или, еще хуже, не хочет понимать?» – подумала я, и слезы выступили мне на глаза.

– Не было бы того, что, ничем не виноватая перед тобой, я наказана твоим равнодушием, презрением даже, – вдруг высказалась я. – Не было бы того, что без всякой моей вины ты вдруг отнял у меня всё, что мне

было дорого.

– Что ты, душа моя! – сказал он, как бы не понимая того, что я говорила.

– Нет, дай мне договорить... Ты отнял от меня свое доверие, любовь, уважение даже; потому что я не поверю, что ты меня любишь теперь, после того, что было прежде. Нет, мне надо сразу высказать всё, что давно мучит меня, – опять перебила я его. – Разве я виновата в том, что не знала жизни, а ты меня оставил одну отыскивать... Разве я виновата, что теперь, когда я сама поняла то, что нужно, когда я, скоро год, бьюсь, чтобы вернуться к тебе, ты отталкиваешь меня, как будто не понимая, чего я хочу, и всё так, что ни в чем нельзя упрекнуть тебя, а что я и виновата, и несчастна! Да, ты хочешь опять выбросить меня в ту жизнь, которая могла сделать и мое и твое несчастье.

– Да чем же я показал тебе это? – с искренним испугом и удивлением спросил он.

– Не ты ли еще вчера говорил, да и беспрестанно говоришь, что я не уживу здесь, и что нам опять на зиму надо ехать в Петербург, который ненавистен мне? – продолжала я. – Чем бы поддержать меня, ты избегаешь всякой откровенности, всякого искреннего, нежного слова со мной. И потом, когда я паду совсем, ты будешь упрекать меня и радоваться на мое падение.

– Постой, постой, – сказал он строго и холодно, – это нехорошо, что ты говоришь теперь. Это только доказывает, что ты дурно расположена против меня, что ты не...

– Что я не люблю тебя? говори! говори! – досказала я, и слезы полились у меня из глаз. Я села на скамейку и закрыла платком лицо.

«Вот как он понял меня!» думала я, стараясь удерживать рыдания, давившие меня. «Кончена, кончена наша прежняя любовь», говорил какой-то голос в моем сердце. Он не подошел ко мне, не утешил меня. Он был оскорблен тем, что я сказала. Голос его был спокоен и сух.

– Не знаю, в чем ты упрекаешь меня, – начал он, – ежели в том, что я уже не так любил тебя, как прежде...

– Любил! – проговорила я в платок, и горькие слезы еще обильнее полились на него.

– То в этом виновато время и мы сами. В каждой поре есть своя любовь... – Он помолчал. – И сказать тебе всю правду? ежели уже ты хочешь откровенности. Как в тот год, когда я только узнал тебя, я ночи проводил без сна, думая о тебе, и делал сам свою любовь, и любовь эта росла и росла в моем сердце, так точно и в Петербурге, и за границей, я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не разрушил ее, а разрушил только то, что мучило меня, успокоился и всё-таки люблю, но другую любовь.

– Да, ты называешь это любовью, а это мука, – проговорила я. – Зачем ты мне позволил жить в свете, ежели он так вреден тебе казался, что ты меня разлюбил за него?

– Не свет, мой друг, – сказал он.

– Зачем не употребил ты свою власть, – продолжала я, – не связал, не убил меня? Мне бы лучше было теперь, чем лишиться всего, что составляло мое счастье, мне бы хорошо, не стыдно было.

Я опять зарыдала и закрыла лицо.

В это время Катя с Соней, веселые и мокрые, с громким говором и смехом вошли на террасу; но, увидав нас, затихли и тотчас же вышли.

Мы долго молчали, когда они ушли; я выплакала свои слезы, и мне стало легче. Я взглянула на него. Он сидел, облокотив голову на руки, и хотел что-то сказать в ответ на мой взгляд, но только тяжело вздохнул и опять облокотился.

Я подошла к нему и отвела его руку. Взгляд его задумчиво обратился на меня.

– Да, – заговорил он, как будто продолжая свои мысли. – Всем нам, а особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь вздор жизни, для того чтобы вернуться к самой жизни; а другому верить нельзя. Ты еще далеко не прожила тогда этот прелестный и милый вздор, на который я любовался в тебе; и я оставлял тебя выживать его и чувствовал, что не имел права стеснять тебя, хотя для меня уже давно прошло время.

– Зачем же ты проживал со мною и давал мне проживать этот вздор, ежели ты любишь меня? – сказала я.

– Затем, что ты и хотела бы, но не могла бы поверить мне; ты сама должна была узнать, и узнала.

– Ты рассуждал, ты рассуждал много, – сказала я. – Ты мало любил.

Мы опять помолчали.

– Это жестоко, что ты сейчас сказала, но это правда, – проговорил он, вдруг приподнимаясь и начиная ходить по террасе, – да, это правда. Я виноват был! – прибавил он, останавливаясь против меня. – Или я не должен был вовсе позволить себе любить тебя, или любить проще, да.

– Забудем всё, – сказала я робко.

– Нет, что прошло, то уж не воротится, никогда не воротись, – и голос его смягчился, когда он говорил это.

– Всё вернулось уже, – сказала я, на плечо кладя ему руку.

Он отвел мою руку и пожал ее.

– Нет, я не правду говорил, что не жалею прошлого; нет, я жалею, я плачу о той прошедшей любви, которой уж нет и не может быть больше. Кто виноват в этом? не знаю. Осталась любовь, но не та, осталось ее место, но она вся выболела, нет уж в ней силы и сочности, остались воспоминания и благодарность: но...

– Не говори так... – перебила я. – Опять пусть будет всё, как прежде... Ведь может быть? да? – спросила я, глядя в его глаза. Но глаза его были ясны, спокойны и не глубоко смотрели в мои.

В то время как я говорила, я чувствовала уже, что невозможно то, чего я желала и о чем просила его. Он улыбнулся спокойною, кроткою, как мне показалось, старческой улыбкой.

– Как еще ты молода, а как я стар, – сказал он. – Во мне уже нет того, чего ты ищешь; зачем обманывать себя? – прибавил он, продолжая так же улыбаться.

Я молча стала подле него, и на душе у меня становилось спокойнее.

– Не будем стараться повторять жизнь, – продолжал он, – не будем лгать сами перед собою. А что нет старых тревог и волнений, и слава Богу! Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на нашу долю выпало довольно счастья. Теперь нам уж нужно стираться и давать дорогу вот кому, – сказал он, указывая на кормилицу, которая с Ваней подошла и остановилась у дверей террасы. – Так-то, милый друг, – заключил он, пригибая к себе мою голову и целуя ее. Не любовник, а старый друг целовал меня.

А из сада всё сильнее и слаще поднималась пахучая свежесть ночи, всё торжественнее становились звуки и тишина, и на небе чаще зажигались звезды. Я посмотрела на него, и мне вдруг стало легко на душе; как будто отняли у меня тот больной нравственный нерв, который заставлял страдать меня. Я вдруг ясно и спокойно поняла, что чувство того времени невозвратно прошло, как и самое время, и что возратить его теперь не только невозможно, но тяжело и стеснительно бы было. Да и полно, так ли хорошо было это время, которое казалось мне таким счастливым? И так давно, давно уже всё это было!..

– Однако пора чай пить! – сказал он, и мы вместе с ним пошли в гостиную. В дверях мне опять встретилась кормилица с Ваней. Я взяла на руки ребенка, закрыла его оголившиеся красные ножонки, прижала его к себе и, чуть прикасаясь губами, поцеловала его. Он как во сне зашевелил ручонкою с растопыренными сморщенными пальцами и открыл мутные глазенки, как будто отыскивая или вспоминая что-то; вдруг эти глазенки остановились на мне, искра мысли блеснула в них, пухлые оттопыренные губки стали собираться и открылись в улыбку. «Мой, мой, мой!» – подумала я, с счастливым напряжением во всех членах прижимая его к груди и с трудом удерживаясь от того, чтобы не сделать ему больно. И я стала целовать его холодные ножонки, животик и руки и чуть обросшую волосами головку. Муж подошел ко мне, я быстро закрыла лицо ребенка и опять открыла его.

– Иван Сергеевич! – проговорил муж, пальцем трогая его под подбородочек. Но я опять быстро закрыла Ивана Сергеевича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него. Я взглянула на мужа, глаза его смеялись, глядя в мои, и мне в первый раз после долгого времени легко и радостно было смотреть в них.

С этого дня кончился мой роман с мужем; старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту...

ВАРИАНТЫ ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ.

* № 1 (I ред.).

Разъ я встала раньше обыкновеннаго, мартовское солнышко свѣтило ярко сквозь бѣлыя занавѣски моей комнатки, и мнѣ стало отчего-то повеселѣе. Мнѣ даже стыдно стало своей апатіи, я помолилась Богу, какъ давно не молилась, одѣлась въ любимое свое счастливое сѣренькое платьѣ, <посмотрѣлась въ зеркало> и пошла внизъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ, чѣмъ наканунѣ. Внизу въ гостиной за самоваромъ мнѣ показалось еще свѣтлѣе и радостнѣе. Я растормошила Машу, защекотала Соню, задала ей урокъ, собрала свои давно нетроганные бумаги, <записала свой дневникъ, проиграла всѣ этюды>, разыграла новую сонату и потащила всѣхъ гулять до большой дороги. На дворѣ такъ и пахло весной, и весну же мы принесли домой на своихъ платьяхъ и лицахъ.

– Слышала: Сережа приѣхалъ! – прокричала мнѣ Маша: – присылалъ спросить о насъ и хотѣлъ приѣхать обѣдать.

– Такъ и есть, – подумала я, – нынче веселый день.

Мнѣ нужно было нынче новое лицо, а Сережа былъ и новое лицо, и человѣкъ, котораго я привыкла любить <и уважать, какъ отца или

дядю». Сережа был именно тот опекун, которого мы ждали. Он был близкой соседь наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Как встарину папа звал его Сережей, так он и остался для нас Сережей, когда мы говорили про него. Все в дом от няни до Сони обожали его. Соня родилась при нем и была его крестницей; меня же он застал 8-летней девочкой, цловал, дразнил и называл ты, <Лизанька и фялочка. Он находил, что я похожа лицом на фялку.> Только 3 года тому назад он, захав к нам уже посл отца, поцловал у меня руку и стал говорить вы.

* № 2 (I ред.)

Я до тех пор смотрела по дорог, пока не только скрылась его фигура, но и затих топот его лошади, потом побжала на верх и опять стала смотреть в окно и в росистом тумане видела все, что хотела видеть. <Мы не спали с Машей до трех часов утра и все говорили о нем. Она тоже страстно любила его и говорила, что нет подобнаго ему человека на свете. Отлично жить на свете! Да, тогда отлично было жить на свете....> Он приехал на другой день, на третий день, и когда он день не приезжал, то я чувствовала, что жизнь моя как будто останавливалась, и я находила, что он дурно поступает со мною. Наши отношения продолжали быть те же, почти родственные; он спрашивал меня, я как будто исповедывалась ему, почему-то чувствуя необходимость во всем с трудом искренно признаваться ему. Большая часть моих вкусов и привычек не нравились ему. <Я любила соседей, наряды, свет, которого не видала, любила изящество, внешность, аристократизм, он презирал все это.> Он видел в них зачатки барышни. – И стоило ему показать движением брови, взглядом, что ему не нравится то, что я говорю, сделать свою особенную, жалкую, чуть-чуть презрительную мину, как мне казалось, что я уже не люблю того, что я любила. Когда он говорил, говорил, как он умел говорить, – увлекательно, просто и горячо, мне казалось, что я знала прежде все то, что он скажет. Только посл <передумывая> я замечала на себя, какую перемену во всей моей жизни производили его слова. Я удивлялась, отчего вдруг в эти три месяца я <перестала любить, что любила, начинала любить новое> и на Машу, на наших людей, на Соню и на все стала смотреть другими глазами. – Прежде книги, которые я читала, были для меня так, препровождением времени, средством убивать скуку, с ним же, когда мы читали вместе, или он говорил, чтобы я прочла то-то и то-то, я стала понимать, что это одно из лучших наслаждений. Прежде Соня, уроки ей было для меня тяжелой обязанностью, он сидел раз со мной за уроком, и уроки сделались для меня радостью. Учить <хорошо, основательно> музыкальные пьесы было прежде для меня решительно невозможно; но когда я знала, что он будет

слышать их и радоваться и похвалить, может быть, что съ нимъ рѣдко случалось, я играла по 40 разъ сряду одинъ пассажъ, и Маша выходила изъ себя, а мнѣ все не скучно было. Я сама удивлялась, какъ совсѣмъ <иначе, лучше я стала фразировать> другою становилась теперь та музыка, которую я играла прежде. Маша стала для меня другимъ человѣкомъ. Я только теперь стала понимать, какое прекрасное, любящее и преданное это было созданье, и какъ оно могло бы быть совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ оно было для насъ. Онъ же научилъ меня смотрѣть на нашихъ людей, на дѣвушекъ, на мужиковъ, на дворовыхъ, какъ на людей, хорошихъ или дурныхъ, счастливыхъ или несчастныхъ самихъ для себя, не по одному тому, какъ они нужны или полезны для насъ. Смѣшно сказать, а прежде эти люди, и хорошіе люди, среди которыхъ я жила, были больше чужіе для меня, чѣмъ люди, которыхъ я никогда не видела. Да и не одно это; онъ открылъ для меня цѣлую жизнь счастья, не измѣнивъ моей жизни и ничего не прибавивъ кромѣ себя къ каждому впечатлѣнію. И все это онъ открывалъ мнѣ, не только не поучая меня, но, я замѣчала, постоянно сдерживая себя и, казалось, невольно. Все то же года было вокругъ меня, и я ничего не замѣчала, а только стоило ему придти, что[бы] все это вокругъ меня заговорило и наперерывъ запросилось въ душу, наполняя ее счастьемъ.

7 Часто въ это лѣто я приходила на верхъ въ свою комнату, ложилась на постель противъ Маши, и какая-то тревога счастья обхватывала меня. Я не могла засыпать, перебиралась къ бѣдной Машѣ, обнимала, цѣловала ее толстую, пухлую шею и говорила ей, что я совершенно счастлива. И она, бедняжка, тоже увѣряла, что она совершенно счастлива, и въ глазахъ ея, глядѣвшихъ на меня, мнѣ казалось, что точно свѣтилось счастье. Потомъ она притворялась сердитой, прогоняла меня и засыпала, а я до зари сидѣла на постелѣ и переби[ра]ла все то, чѣмъ я такъ счастлива. И не было конца причинамъ счастья, и къ каждому изъ моихъ счастлихъ примѣшивался онъ или его слово, или его мысль. Иногда я вставала и молилась. Молилась такъ, какъ ужъ больше никогда не молилась. И въ комнаткѣ было тихо, только Маша дышала, и я поворачивалась; и двери и занавѣски были закрыты, и мнѣ не хотѣлось выходить изъ этой комнатки, не хотѣлось, чтобы приходило утро, не хотѣлось, чтобы разлетѣлась эта моя душевная атмосфера, окружавшая меня. – Мнѣ казалось, что мои мечты и мысли и молитвы – живыя существа, тутъ во мракѣ живущія со мной, стоящія надо мной, летающія около моей постели. И каждая мысль была не моя, а его мысль, и каждая мечта была мечта о немъ, и въ каждомъ воспоминаніи, въ воспоминаніи того даже времени, когда я его не знала, – былъ онъ, и молитва была за него и съ нимъ. <Онъ наяву, и въ мечтаніяхъ, и во снѣ, онъ всегда былъ со мною>. Однако я еще сама себя не признавалась въ любви къ нему. Ежели бы ясно поняла, что я чувствую, я бы сказала это Машѣ, а тогда я ей еще ничего не говорила. Я тогда еще боялась признаться себѣ въ своемъ чувствѣ. Я была горда. И женской инстинктъ мнѣ говорилъ, что ежели бы я ясно сказала себѣ, что люблю его, я бы спросила себя, любить ли онъ меня, и должна была бы отвѣтить: нѣтъ. Я смутно предчувствовала это и потому боялась

разогнать волшебный тумань, окружавшій меня. Притомъ мнѣ такъ было хорошо, что я боялась всякой перемѣны. Онъ всегда обращался со мной, какъ съ ребенкомъ. Хотя и старался скрывать, но я всегда чувствовала, что за тѣмъ, что я понимаю, въ немъ остается еще цѣлый міръ, чужой для меня, въ который онъ не считаетъ нужнымъ впускать меня. Никогда почти я не могла замѣтить въ немъ смущенья или волненья при встрѣчахъ и разговорахъ со мной, которые бывали иногда такъ искренни и странны. Главное-жь – онъ никогда не говорилъ со мной про себя. <Онъ былъ предводитель нашего уѣзда и> Я знала по деревенскимъ слухамъ, что кромѣ своего хозяйства и нашего опекунства онъ занятъ какими-то дворянскими дѣлами, за которыя ему дѣлаютъ непріятности. Но всякой разъ, какъ я наводила разговоръ на эти занятія, онъ морщился своимъ особеннымъ манеромъ, какъ будто говорилъ: «полноте, пожалуйста, <болтать вздоръ и> притворяйтесь, что вамъ можетъ быть это интересно», и переводилъ разговоръ на другой предметъ.

8 Потомъ, что тоже сначала обманывало меня, онъ какъ будто не любилъ или презиралъ мою красоту. – Онъ никогда не намекалъ на нее и морщился, когда при немъ называли меня хорошенькой. Напротивъ, всѣ недостатки мои онъ ясно видѣлъ и любилъ ими какъ будто дразнить меня. <Родинку на щекѣ онъ называлъ мушицей и увѣрялъ, что усы мнѣ скоро придется брить съ мыломъ. Красивые туалеты или куафюры новыя, которыя мнѣ шли, казалось, возбуждали въ немъ отвращенье.> Одинъ разъ въ свои именины я ждала его и надѣла новое ярко-голубое платье, очень открытое на груди, <и красныя ленты> и перемѣнила прическу, зачесала волосы къ верху, что очень шло ко мнѣ, какъ говорили Маша и дѣвушки. Когда онъ вошелъ и удивленно посмотрѣлъ на меня, я оробѣла, покраснѣла и умоляющимъ взглядомъ спрашивала его мнѣнъ о себѣ въ новомъ нарядѣ. Должно быть, въ моихъ глазахъ онъ прочелъ другое. Онъ сдѣлалъ свою недовольную мину и холодно посмотрѣлъ на меня. Когда теперь я вспоминаю это, мнѣ ясно, почему ему непріятно было. Деревенская безвкусная, безтактная барышня, которая начинаетъ нравиться, воображаетъ себя красавицей и побѣдительницей и для 2хъ сосѣдокъ и стараго друга дома нескладно убралась всѣми своими нарядами и выставила свои прелести. Весь этотъ день онъ жестоко мучалъ меня за мое голубое [платье] и новую прическу. Онъ былъ офиціально холоденъ со мной, насмѣшливъ и ни на одинъ волосокъ не былъ со мной иначе, чѣмъ съ другими. Въ цѣлый день я не могла вызвать отъ него ни одного дружескаго, интимнаго слова или взгляда. Вечеромъ, когда всѣ уѣхали, я сказала Машѣ, что платье мнѣ жметъ, и ушла на верхъ. Я сбросила противное платье, надѣла лиловую кофточку, которую онъ называлъ семейно-покровской кофточкой, и, уничтоживъ съ трудомъ сдѣланную утромъ прическу, зачесала волоса гладко за уши и сошла внизъ.

– А! Лизавета Александровна! здравствуйте, – сказала онъ, увидавъ меня, и все лицо его отъ бороды до лба просіяло той милой, дружески-спокойной улыбкой. – Наконецъ-то удалось увидеть васъ. Такъ-то лучше.

– Развѣ вы не любите ея новую прическу? – спросила Маша. – А я нахожу, что къ ней очень идетъ.

– А я ненавижу всякое фр, фр, фр! – сказалъ онъ. – Зачѣмъ? Эти барышни, что были здесь, теперь возненавидѣли ее за это сизое платье <я и поговорить не смѣлъ цѣлый день>, и самой ей неловко было, да и не красиво. То ли дѣло – такъ опять запахло фіялкой и Александръ Ивановичемъ и всѣмъ хорошимъ. –

Я только улыбалась и молчала. Маша видѣла, что я нравлюсь ему, и рѣшительно не понимала, что это значило. Какъ не любить, чтобы женщина, которую любишь, выказывалась въ самомъ выгодномъ свѣтѣ? А я уже понимала, чего ему надо. Ему нужно было вѣрить, что во мнѣ нѣтъ кокетства, чтобы <сильнѣе> любить меня, и когда я поняла это, во мнѣ и тѣни не осталось кокетства нарядовъ, причесокъ, движеній. Правда, явилось тогда во мнѣ бѣлыми нитками шитое кокетство – простота, тогда, когда еще не могло быть простоты. И онъ вѣрилъ, что во мнѣ не было кокетства, а были простота и воспріимчивость, которыхъ ему хотѣлось во мнѣ. <Какъ часто въ это время я видѣла, какъ онъ приходилъ въ восторгъ отъ своихъ собственныхъ мыслей, которыя я ему высказывала по своему, какъ онъ наивно радовался на самого себя, видя, воображая, что радуется на меня. Однако> Женщина не можетъ перестать быть кокеткой, когда ее любятъ, не можетъ не желать поддерживать обмана, состоящаго въ томъ убѣжденіи, что она лучшая женщина въ мірѣ, и я невольно обманывала его. Но и въ этомъ какъ онъ высоко поднѣл меня отъ того, что я была прежде. Какъ легче мнѣ было и достойнѣе – я чувствовала – выказывать лучшія стороны своей души, чѣмъ тѣла. Мои волосы, руки, мои привычки, какія бы онѣ не были, хорошія или дурныя, мнѣ казалось, что онъ всѣ зналъ и сразу оцѣнилъ своимъ пронизательнымъ взглядомъ, такъ что я ничего кромѣ желанія обмана, ломанья не могла прибавить къ своей красотѣ, душу же мою онъ не зналъ, потому что онъ любилъ ее, потому что въ то самое время она росла и развивалась, и тутъ-то я могла и обманывала его. Притомъ какъ мнѣ легко стало, когда я ясно поняла это. Эти смущеніе, стѣсненность движеній совсѣмъ исчезли во мнѣ, какъ и въ немъ. Я чувствовала, что спереди ли, съ боку, сидя или ходя онъ видѣлъ меня, съ волосами кверху или книзу, – онъ зналъ всю меня <(и мнѣ чуялось, любилъ меня какой я была) я не могла ни на одинъ волосъ крѣпче привязать его. Но за то> Я даже не знаю, была ли бы рада, ежели бы онъ вдругъ сказалъ мнѣ, что у меня глаза стали лучше. Зато какъ отрадно и свѣтло на душѣ становилось мнѣ, когда пристально вглядываясь въ меня и какъ будто вытягивая глазами изъ меня ту мысль, которую ему хотѣлось, онъ вдругъ, выслушавъ меня, говаривалъ тронутымъ голосомъ, которому онъ старался дать шутливый тонъ: – Да, да, въ васъ есть. Вы отличная дѣвушка, это я долженъ вамъ сказать. Вы интересная дѣвушка, не interessante, а интересная, [такъ] что мнѣ хотѣлось бы узнать конецъ отличной вещи, которую я въ васъ читаю.

И вѣдь за что я получала тогда такія награды, обхватывавшія всю мою душу счастьемъ? За то, что я говорила, какъ трогательна любовь старика Григорья къ своей внучкѣ, что какъ онъ по своему хорошо любить ее, и что я прежде этаго не понимала. Или за то, что мнѣ совѣстно бываетъ отчего-то гуляя проходить мимо крестьянокъ, когда они работаютъ, и хотѣлось бы подойти къ ихъ люлькамъ, но не смѣю. Или что Бетховен поднимаетъ меня на свѣтлую высоту, что летаешь съ нимъ, какъ во снѣ на крыльяхъ. Или за то, что слезы у меня навернутся, читая «Для береговъ отчизны дальней». И все это, какъ теперь вспомню, не мои чувства, а его, которыя смутно лепетали мои дѣтскія уста. И удивительно мнѣ подумать, какимъ необыкновеннымъ чутьемъ угадывала я тогда все то, что надо было любить, и что только гораздо послѣ онъ открылъ мнѣ и заставилъ полюбить.

* № 3 (I ред.).

Но хотя я не смѣла признаться себѣ, что люблю, я уже ловила во всемъ признаковъ его любви ко мнѣ. Его къ концу лѣта больше и больше сдержанное обращеніе со мной, его частыя посѣщенія несмотря на дѣла, его счастливый видъ у насъ наводили меня на эту догадку. Но чуть-чуть я взглядомъ, словомъ показывала свою радость и надежду, онъ спѣшилъ холодно-покровительственнымъ тономъ, иногда больно и грубо разбить эту надежду. Но я еще сильнѣе надѣялась, чувствуя, что онъ боится меня. – Къ концу лѣта онъ сталъ рѣже ѣздить, но на мое счастье нашъ прикащикъ заболѣлъ во время самой уборки хлѣба, и онъ долженъ былъ пріѣзжать на наше поле и не могъ не заѣзжать къ намъ.

* № 4 (I ред.).

– Какже, неужели вы никогда не говорили: – Я васъ люблю, – спросила я смѣясь.

– Не говорилъ и не буду говорить навѣрное, и на колѣно одно не становился и не буду, – отвѣчалъ онъ. <А черезъ недѣлю онъ мнѣ говорилъ эти слова и говорилъ невольно, изъ всей души, и были знаменья, и слова эти были эпохой въ нашей жизни. И въ словахъ этихъ было все лучшее счастье и моей, и его жизни. Ему, казалось, былъ непріятенъ разговоръ на эту тему, онъ подозвалъ Соню и сталъ ей рассказывать сказку.

– Да вы хорошенькую расскажите, чтобы и нам слушать можно было, –

сказала Маша.

– Хорошо, постараюсь.

– Исторію разскажи, – сказала Соня, – чтобъ похоже было.

– Хорошо, самую похожую. Я вамъ исторію разскажу, и онъ взглянулъ на меня. Я усѣлась подлѣ него и стала слушать. Соня сѣла къ нему на колѣни. Онъ обращался къ ней и не смотрѣлъ уже на меня. Вотъ что онъ разсказаль.

– Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жила была одна принцесса.⁹

– Какъ ее звали? – спросила Соня.

– Звали ее..... Никитой.

Соня захохотала.

– Только у барышни Никиты не было ни отца, ни матери.

– Какъ у насъ, – сказала Соня.

– Да ты не перебивай. Была только у нея волшебница, которая очень полюбила ее. Волшебница разъ пришла къ ней ночью и сказала: – Ты хорошая принцесса, я тебя люблю и хочу дать счастье. Чего ты, говорить, хочешь? – А Никита не знала, чего она¹⁰ хочетъ, и говорить: – Я не знаю. – А ежели не знаешь, такъ вотъ тебѣ два пузырька,¹¹ въ нихъ самое лучшее счастье. – Что же, говорить, съ ними дѣлать? – А вотъ что. Носи ты всегда эти пузырьки при себе, подлѣ сердца, и когда тебѣ захочется счастья, возьми голубенькой пузырекъ, выпей сама, а красненькой дай выпить какому нибудь человеку, который бы былъ не много старше тебя, и будешь счастлива.

– Отчего? – спросила Соня.

– Оттого, что будешь всю [жизнь] любить другъ друга съ этимъ человѣкомъ.

– И вкусно это, что въ пузырькѣ¹² было? – спросила Соня.

– Вотъ увидишь. Только вотъ что, – говорить волшебница, – ежели ты не сразу выпьешь свой пузырекъ и тому человѣку не весь отдашь, то вмѣсто счастья будетъ тебѣ несчастье и тѣмъ, кому ты будешь давать пить, и еще говорить, ежели ты перепутаешь и сама будешь пить изъ красненькаго, тоже будетъ тебѣ несчастье. А ежели прольешь, разобьешь или понемногу раздашь изъ пузырьковъ эту воду, то ужъ другихъ тебѣ не будетъ. – Ну хорошо. Только у принцесы былъ одинъ пріятель, тоже Принцъ,¹³ который часто къ ней ѣздилъ въ гости и очень любилъ ее.

– Она съ нимъ и выпьетъ? – спросила Соня.

– Нѣтъ, съ нимъ нельзя, потому что онъ былъ старый, его нельзя было любить, а волшебница сказала, чтобы съ ровесникомъ выпить, котораго можно любить. Только старый Принцъ, когда узналъ про пузырькъ,¹⁴ очень обрадовался за Принцесу и сталъ учить ее, какъ принять эту воду и какъ угостить ей когонибудь. Но принцеса отвѣдала немножко своей водицы, изъ голубенькой, и, чтобы попробовать и посмѣяться, подлила потихоньку въ супъ, из красненькой, старому принцу. Принцъ былъ уже старый хрѣнь.

– Хрѣнь! – засмѣялась Соня.

– Да, старый хрѣнь, и ему случалось пивать этой воды, онъ зналъ ее вкусъ, и она уже мало дѣйствовала на него. Но это ему было ужасно пріятно. Онъ зналъ, что вредно, а съѣлъ целую тарелку супу. Однако ему стало немного больно.

– Животъ заболѣлъ?

– Да, а главное – ему жалко стало Принцесу, что она такъ, изъ любопытства, потеряетъ свое счастье. Онъ не сталъ больше ѣсть супу и говорить ей: вѣдь я знаю, что вы сдѣлали, вы мнѣ подлили волшебной водицы, а помните, что вамъ сказала волшебница, – чтобы пить и давать пить всю разомъ; а то будетъ худо. Вамъ худо, а не мнѣ, я уже привыкъ и мнѣ не почему, а вы растратите даромъ, жалѣть будете, потому не воротите. А поѣзжайте–ка лучше въ другое государство и сыщите себѣ хорошаго принца и все ему дайте выпить, тогда я опять буду у васъ супъ ѣсть, а то ни чаю, ни супу, ни воды, ни вишень отъ васъ ѣсть не стану. – Всталъ и уѣхалъ.>

* № 5 (I ред.).

– Какже, неужели вы никогда не говорили: – Я васъ люблю, – спросила я смѣясь.

– Не говорилъ и не буду говорить навѣрное и на колѣно одно не становился и не буду, – отвѣчалъ онъ.

– Какіе вы пустяки говорите, – сказала я рѣшительно.

– Вотъ те на, – проговорилъ онъ.

Мы съ Машей засмѣялись.

– А знаете, что я нынче замѣтила, сказала я: – Вы ужасно

ненатуральны. Вы самая простая вещь хотите сделать еще проще и от этого запутываете их.

– Вот воспитанница как своего учителя учить! – сказала Маша.

– И я знаю отчего, – сказал он.

– Отчего?

– Знаю.

– Ну расскажите.

– Ведь это не легко, – сказал он, не глядя на меня.

– Ну дайте понять, я, право, ничего не понимаю.

– Хорошо, постараюсь. – Он задумался. – Я вам историю расскажу, – и он взглянул на меня.

– Расскажи, расскажи историю, – сказала Соня и села к нему на колени. Он обращался к ней и не смотрел на меня.

– Ну, как бы вам это рассказать, – начал он. – Есть такое царство, в котором все девочки рождаются заряженные разным вздором – плясками, тряпками, романами и главное кокетством и всякой дрянью. И в царстве этом так устроено, что девочки эти не могут быть счастливы до тех пор, пока они не выпляшут весь заряд пляски, не выносят все тряпки и, главное, не выкокетничают все кокетство.

– Что такое кокетство? – спросила Соня.

– А ты у Лизы спроси, – отвечал он.

– Вздор, ничего, – сказала я. – Ну....

– Только в этом царстве, – продолжал он, – была такая девочка, славная девочка, очень заряженная всеми этими штуками, и у нее был друг один – так, старичок, учитель, который каждый день ходил к ней и старался потихоньку разряжать ее, чтобы ей легче было. Только раз пришел этот учитель, хотел посидеть с ней, учить ее, а она как обернется к нему, как выстрелит в него, так что ему и больно немножко сделалось, а главное он испугался, чтобы она себя вреда не сделала. Он и говорит: – Зачем вы в меня стреляете, я ведь с вами не воюю, вы стреляйте в других, а то уже я лучше уйду от вас. – А она так разсердилась, что стреляет себя и ничего слышать не хочет и все думает, что это очень просто, и что напрасно старичок ее учить. Стрелять хочется, ну и стреляй. Старичок подумал, подумал да взял и ушел от нее. – Дай, говорит, вам Бог счастья, а уже я вам не товарищ, коли вы так хотите со мной обращаться.

Голосъ его немного дрожаль, когда онъ кончилъ, и все время онъ избѣгалъ моего взгляда.

– И вся? – спросила Соня.

– Вся.

– Ну, это не хороша. А что же дѣвочка? – сказала она.

– Послѣ расскажу, когда увижу, – сказалъ онъ и всталъ.

Онъ смущенно улыбался и взглянулъ на меня, какъ будто ему совѣстно было за то, что онъ сказалъ. Я ничего не могла говорить и чувствовала, что неестественный румянецъ стоитъ на моихъ щекахъ. Мне страшно и больно, и досадно на него было. Тысячи мыслей кружились въ моей головѣ, мнѣ хотѣлось и по своему закончить сказку, хотѣлось сказать ему, что онъ видитъ то, чего нѣтъ, и все ищетъ трудностей, гдѣ все ясно и легко, но что-то сковывало мой языкъ, и я только смотрѣла на него. Онъ подаль мнѣ руку и хотѣлъ уйти.

53-й лист рукописи второй редакции „Семейного счастья“.

Размер подлинника.

Я крѣпко сжала его руку и страннымъ шопотомъ, который удивилъ меня самое, спросила, когда онъ будетъ...

* № 6 (I ред.).

Былъ успенскій постъ, и я въ то же утро, къ удивленію Маши, объявила, что буду говѣть, и поѣхала въ Церковь. Онъ ни разу не приѣзжалъ во всю эту недѣлю, и я не тревожилась, даже не жалѣла и спокойно ждала его къ дню моего рожденья. <Никогда ни прежде, ни послѣ, я не говѣла такъ искренно и добросовѣстно.> Я говѣла для своей души <для Бога>, но отчего не признаться – и, надѣюсь, Богъ проститъ меня – я говѣла тоже для него, для того чтобы снять съ себя всѣ старые грѣхи, все то, что я дѣлала дурнаго до него, и явиться ему раскаявшейся, спокойной и чистой и достойной его. Въ сравненіи съ свѣтлымъ состояніемъ моей¹⁵ души какъ черно мнѣ казалось тогда

мое дѣтское невинное прошедшее. Часто въ эту недѣлю я думала о немъ, но совсѣмъ не такъ, какъ думала въ ночь, когда узнала про его любовь. Я не желала, не боялась его какъ пре[жде], я была убѣждена, что онъ мой, и думала о немъ, какъ о себѣ, невольно примѣшивая мысль о немъ къ каждой мечтѣ, къ каждой надеждѣ. Подавляющее вліяніе, которое я испытывала въ его присутствіе, исчезало совершенно въ моемъ воображеніи, когда его не было. Я не только чувствовала себя равной ему, но съ высоты того духовнаго настроенія, въ которомъ я находилась эту недѣлю, я даже спокойно судила и жалѣла его. Судила за его непростоту и жалѣла за его притворныя,¹⁶ какъ мнѣ казалось, спокойствіе и холодность.

* № 7 (1 ред.).

<Вотъ какъ я думала тогда о нашей будущей жизни. –

Мы женимся въ деревнѣ, приѣдутъ его и мои родные, привезутъ музыку изъ города; дней 5, 6, недѣлю мы повеселимся, потомъ съ нимъ и съ Машей поѣдемъ къ нему въ его хорошенькой домикъ, который будетъ такой свѣженькой, веселинькой, съ коврами, гардинами и колонками. Онъ введетъ меня въ мой кабинетъ, убранный, какъ игрушечка, и спросить:

– Что, не скучно тебѣ будетъ тутъ со мной, моя фіалочка?

И мы одни будемъ въ комнатѣ. Я обхвачу его руками, я встормошу его волосы.

– Ежели бы тебя не было, мнѣ бы было хорошо, а съ тобой мнѣ вездѣ скучно, – скажу я.

И онъ улыбнется своей улыбкой и уйдетъ, чтобы мнѣ не скучно было съ нимъ и чтобы я не путала его волосы, и я побѣгу за нимъ черезъ весь домъ и въ садъ, и въ рошу, и нигдѣ не уйти ему отъ меня. Онъ кончитъ свои дѣла поскорѣе. Я ему помогу ихъ кончить, и къ зимѣ мы поѣдемъ за границу, и дорогой будемъ одни съ нимъ, только двое сидѣть в каретѣ, и въ Римѣ и въ Парижѣ только одни, двое будемъ ходить и ѣздить между толпой, которая будетъ любоваться нами. Такой сильный, мужеств[енный] человѣкъ и стройная, милая и мило одѣтая женщина. И вездѣ будутъ радоваться моей красотѣ и говорить, что счастье съ такой женой, съ хорошенькой женой, за которой многимъ бы хотѣлось поволочиться, ежели бы не видно было, что его одного она любила и всегда любить будетъ. И ежели будутъ у него заботы, онъ придетъ и расскажетъ ихъ женѣ, и жена обниметъ его, поцѣлуетъ добрые глаза, и заботы пройдутъ, и сядетъ жена за фортепьяно и съиграетъ ему то, что онъ любить, и онъ потихоньку подкрадется и въ шею поцѣлуетъ ее. Одна

Маша будетъ съ нами вездѣ, и его сестра будетъ моимъ другомъ. И много новыхъ знакомствъ и друзей у меня будетъ. И все, что онъ будетъ любить, буду любить и я. И ничего для меня не будетъ скрыто въ его жизни. Потому мнѣ приходило въ голову, что кто-нибудь влюбится въ меня, скажетъ мнѣ, что я хороша или что-нибудь такое, и эта мысль больше всего радовала меня. Я приду, скажу ему:

— Serge! знаешь, что мнѣ сказали?

Онъ разведетъ руками и скажетъ:

— Боже мой! какая прелесть!

А я притворюсь, что сержусь, что мой мужъ такъ холодно принимаетъ такое извѣстiе. И ежели онъ заболѣетъ, какъ дни и ночи я буду просиживать у его постели, и онъ будетъ ловить и жать мою руку, поправляющую подушку, и слабыми глазами благодарно смотрѣть на меня, и какъ онъ будетъ грустенъ и озабоченъ, и я все раздѣлю съ нимъ и утѣшу его! и какъ я на ципочкахъ буду подходить къ его двери и смотрѣть, что дѣлаетъ мужъ мой. Да, онъ мужъ мой. Мой мужъ... «Подите спросите у мужа. Я съ мужемъ приѣду къ тебѣ... Мужъ не любить этаго». Кто лучшій и добрѣйшій и прекраснѣйшій человекъ на свѣтѣ? Это все мужъ мой, мой мужъ. — Одна эта мысль и слово доставляли мнѣ странное, невыразимое удовольствiе. Потому я думала, какъ мы опять вернемся въ деревню, опять милый домикъ, тишина, и мы одни другъ съ другомъ, и опять любовь, опять счастье. Опять у него какiя-то дѣла, заботы и ангель, который облегчаетъ всѣ эти заботы и даетъ счастье. О дѣтяхъ я не думала, и, по правдѣ сказать, мысль эта портила созданный мною мірокъ, и я отгоняла ее.>

* № 8 (I ред.)

Перваго Сентября батюшка приѣхалъ по обыкновенiю въ домъ служить молебень съ водосвятиемъ. Погода наконецъ разгулялась и была прекрасная въ первый разъ свѣжая, осѣнная. Все было мокро, пестро и солнечно блестяще. — Одинъ изъ тѣхъ первыхъ осѣнныхъ дней, когда послѣ дождей и холодовъ вдругъ разгуляется, и на холодномъ свѣтѣ солнца въ первый разъ видишь уже не лѣто, а замѣчаешь осѣнную желтизну, оголенность и свинцовую блѣдность неба. — Онъ предоставилъ мнѣ назначить день сватъбы, объ одномъ прося только, чтобы не было никого гостей, не было вуаля невѣсты, флеръ доранжа и шаферовъ и шампанскаго. Машу это сердило; по его выраженью, ей хотѣлось бы натывать мнѣ цвѣтовъ въ помаженную голову, шептать въ церкви, чтобы не мяли вѣнцомъ прическу, и съ большимъ вкусомъ плакать, глядя на вуаль и бѣлое платье. Ей было точно досадно; но я понимала его. Мы

не назначили день свадьбы, чтобы никто не приехал, и я, которой он поручил это, обещала объявить этот день накануне. По правде сказать, я ожидала только хорошей погоды, и поэтому, как только барометр поднялся, и первого Сентября открылось все небо, я решила, что ежели он согласен, то мы завтра же будем венчаться. Он смутился, покраснел и как-то официально, чтобы скрыть свою радость, поцеловал мою руку. Когда я ему объявила это, мне смешно стало. Мы объявили Батюшке о нашем желании, и старик поздравил нас и в сотый раз рассказал ему, что он венчал моего отца, крестил меня, и вот Бог привел венчать и дочку. Священник приготовился уже было служить, стол был накрыт, суповая чаша, стеклянные подсвечники с восковыми свечами, кадило, крест с мощами, все было на месте. Маша попросила подождать, побжала к себе наверх. Через несколько минут она принесла новый образ Угодника Сергия в серебряной ризе, которой она заказывала в Москве, чтобы благословить меня, и только что получила. И я, и он – мы давно знали про этот образ, но желание ее благословить меня в день свадьбы образом Ангела моего мужа, к которому я имела большую веру, должно было быть тайной и сюрпризом для меня. И мы будто бы ничего не знали, не знали, как она сбила последнюю копейку на этот образ, как послала мрку, как получила ящик и совещалась с нянюшкой, мы, стоя в зале и дожидаясь службы, даже не заметили, как толстая, кругленькая Маша легкими шагами сбжала с лестницы и, не глядя на нас, прошла залу и поставила образ на стол, так чтобы он не катился, шепнула батюшке: – и Угоднику Сергию – и, строго взглянув на нас, прошла к своему уголку у двери, где и стала, слегка пошевелив губами и сложив руки.

– Благословен Бог наш! – провозгласил давно знакомый голос Священника, и я перекрестилась и взглянула на будущего мужа. В глазах его была нежность и умиление, но на губах его как будто готова была улыбка, которая не понравилась мне. Как будто он только за меня и за Машу умилился и радовался, а не за себя. Я долго, пристально посмотрела на него. Он понял меня, отвернулся и перекрестился. Я изредка взглядывала на него. Он стоял, нагнув голову и молился, я чувствовала это в глазах его, которые я так знала, было искреннее <глубокое> чувство. Отходя от креста и обтирая платком мокрые, окропленные глаза, я подошла к нему и взяла его за руку.

– Я вами довольна, мой друг, – сказала я.

Он вынул платок и отер им мои мокрые волосы.

– Вам, все вам я обязан <в лучшем>. Вы мой ангел хранитель.

– Не говорите так, – сказала я, с ним вместе направляясь к двери и чувствуя, что у нас завяжется разговор, для которого нам нужно быть одним. – Это не хорошо, я грешница, такая же, как и все. Иногда я замечала в вас то, что меня мучало. Вы как бы это только

понимаете, а не чувствуете всего этого. Я давно хотѣла сказать вамъ.

— Ахъ, мой другъ, не говорите про то, что было, какимъ я былъ, теперь берите меня, какимъ я есть, я вашъ, я вами думаю, я вами люблю. <Теперь съ вами молюсь и вѣрю и буду молиться.> Я чувствую, что мнѣ нельзя жить теперь безъ васъ <и безъ молитвы.> Я чувствую, какъ съ каждымъ днемъ таитъ мое сердце, и все прекрасное становится близко ему. Мнѣ опять 16 лѣтъ становится.

— И оставайтесь такъ всегда, увидите, какъ вамъ хорошо будетъ, — сказала я.

— Какъ мнѣ ужъ теперь хорошо, мой ангель!

И онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза, и все глубже, глубже проникалъ его счастливый, довольный взглядъ.

* № 9 (II ред.).

Домъ нашъ былъ одинъ изъ старыхъ барскихъ домовъ, въ которыхъ со дня ихъ основанія ничего не измѣнялось изъ стараго порядка, а только въ томъ же порядкѣ прибавлялось новое вмѣстѣ съ измѣнявшимися поколѣнїями и потребностями. Все отзывалось воспоминанїями о немъ, о его дѣтствѣ, о его матери, отцѣ, дѣдѣ. <Кабинетъ его былъ кабинетъ его отца и дѣда, еще дѣдовская, кожанная мебель съ гвоздиками стояла въ немъ и висѣли портреты его отца, дѣда и прадѣда и охотничьи гравюры, привезенныя дѣдомъ изъ Англїи и отцомъ его обдѣланныя въ рамки. Шкапы съ книгами въ библиотекѣ рядомъ были наполнены — одинъ философскими энциклопедическими книгами дѣда въ кожаныхъ переплетахъ съ золотыми обрѣзами, другой переплетенными и неразрѣзанными историческими книгами отца и третїи его книгами. Въ гостиной постарому стояла симметрично дѣдовская мебель и висѣли два въ золотыхъ рамахъ зеркала, картина снятія съ креста, всѣми принимаемая за Тицьяна, и два портрета бабушекъ>. Отцомъ его старая мебель была <отполирована за ново> и обита штофомъ, и картина снятія со креста и коверъ во всю комнату, теперь ужъ старой, были прибавлены къ украшенію гостиной. Татьяна Семеновна, уже вдовой, украсила гостиную перегородкой съ плющемъ и надѣла чехлы на мебель и протянула полосухи черезъ коверъ. Точно такія же прибавленія и украшенія замѣтны были и во всѣхъ другихъ комнатахъ, особенно на половинѣ и въ комнатѣ Татьяны Семеновны. Тамъ было столько дивановъ, диванчиковъ, ширмовъ, ширмочекъ, шифоньерокъ, шкафчиковъ, столовъ, столиковъ, часиковъ, вещицъ, все разныхъ временъ и цвѣтовъ и фасоновъ, дѣдовскихъ и нынѣшнихъ, что все это на первое впечатлѣніе поражало своей пестротой и разнородностью и загроможденностью, но потомъ все это очень прїятно соединялось въ одинъ общїй характеръ

домовитости и уютности, который особенно понятенъ былъ, когда среди всего этаго въ своемъ волтеровскомъ креслѣ сидѣла сама Татьяна Семеновна. Посуда, кухня, экипажи, старая прислуга, столъ – все было въ томъ же изобильномъ старинномъ и фамильномъ характерѣ. Всего было много, все было не ново, но прочно, опрятно и по старинному красиво. Отъ всего, начиная отъ тяжелыхъ мѣдныхъ подсвѣчниковъ, изображающихъ толстаго амура, дувшаго вверхъ, отъ тяжелаго трюмо съ рѣзными полками, до кіе[в]скихъ соусниковъ и старыхъ лакеевъ Татьяны Семеновны и особеннаго никольскаго манера дѣлать кашку, – отъ всего пахло хорошими старыми семейными воспоминаніями. Всѣ эти воспоминанія тотчасъ же сроднились со мною. Мнѣ казалось, что я сама помнила, какъ умиралъ его отецъ такъ [З неразобр.] на большомъ кожаномъ диванѣ, какъ самъ Сережа, бывшій ребенкомъ самымъ прекраснымъ, живымъ и милымъ, въ мірѣ[?], разбился головой объ уголь, сбѣгая съ лѣстницы, какъ изъ дѣтской въ первый разъ перевели внизъ къ гувернеру этаго самаго кроткаго ребенка въ мірѣ, и какъ онъ спрыгнулъ въ окно изъ залы, и его посадили въ этотъ самый чуланъ подъ лѣстницей, и какъ онъ, лучшій сынъ въ мірѣ, въ растопель въ первый разъ пріѣхалъ большимъ послѣ университета. Вся эта старина, отъ рассказовъ его матери, няни и его самаго, ожила въ моихъ глазахъ и слилась съ воспоминаніями о немъ въ то время, когда я не знала его.

* № 10 (II ред.).

Все время мое отъ поздняго утра и до поздней ночи принадлежало не мнѣ и было занято, даже ежели бы я и не выѣзжала. Мнѣ это было уже не весело и не скучно, а казалось, что такъ, а не иначе должно быть. Такъ было и въ то время, когда я надѣялась быть матерью. Внимательность и уваженіе ко мнѣ мужа какъ будто еще увеличились въ это время, но часто мнѣ больно и неловко было замѣчать, что какъ будто не одна я, были причины этой внимательности.

Часто, сама размышляя о новомъ предстоящемъ мнѣ чувствѣ, я становилась недовольна вѣчной разсѣянностью и пустыми заботами, поглощавшими меня, и мнѣ казалось, что вотъ стоитъ мнѣ сдѣлаться матерью, и я само собой брошу всѣ старыя привычки и вкусы и начну новую жизнь. Я ждала и перерожденья, и счастія отъ материнской любви. Мнѣ казалось, что новое чувство безъ всякаго подготовленья съ моей стороны, противъ моей воли, схватитъ меня и увлечетъ за собой въ другой счастливый міръ. Но Богъ знаетъ отчего это случилось? отъ того ли, что я хуже другихъ женщинъ, отъ того ли, что я находилась въ дурныхъ условіяхъ, или это общая участь всѣхъ насъ, женщинъ, только первое и сильнѣйшее чувство, которое мнѣ доставилъ мой ребенокъ, было горькое оскорбительное чувство разочарованія, <смѣшанное съ гордостью, сожалѣніемъ и сознаніемъ необходимости

нѣкоторой притворно-официальной нѣжности.> Сгорая отъ нетерпѣнія узнать это сильнѣйшее новое чувство, обѣщавшее мнѣ столько радостей, я въ первый разъ ожидала своего ребенка. Ребенка принесли, я увидела маленькое, красное, кричащее созданище, упирившееся мнѣ въ лицо пухлыми ручонками. Сердце упало во мнѣ. Я взяла его на руки и стала цѣловать, но то, что я чувствовала, было такъ мало въ сравненіи съ тѣмъ, что я хотѣла чувствовать, что мнѣ показалось, что я ничего не чувствую. Я хотѣла отдать ребенка, но тутъ были няня, кормилица съ нѣжно улыбающимися лицами, вызывающими мою нѣжность, тутъ были его глаза, какъ-то вопросительно глядѣвшіе то на меня, то на Кокошу, и мнѣ стало ужасно больно и страшно.

— Вотъ они всѣ ждутъ отъ меня чего-то, — думала я, — ждутъ эти добродушныя женщины, ждать и онъ, а во мнѣ нѣтъ ничего, — какъ мнѣ казалось. Но я еще разъ прижала къ себѣ ребенка, и слезы выступили мнѣ на глаза. — Неужели я хуже всѣхъ другихъ женщинъ? — спрашивала я себя. И страшное сомнѣніе въ самой себѣ проникло мнѣ въ душу. Но этотъ страхъ, эти сомнѣнья продолжались недолго. Съ помощью вѣчнаго разсѣянья, частью притворяясь, частью признаваясь себѣ и другимъ въ своей холодности къ ребенку и полагая, что это такъ и должно быть, я примирилась съ своимъ положеньемъ и стала вести старую жизнь.

Комментарии Н. М. Мендельсона

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.

По словамъ самого Л. Н. Толстого, въ основу художественнаго замысла, воплощеннаго въ «Семейномъ счастіи», легла исторія его отношеній къ Валеріи Владимировнѣ Арсеньевой, въ первомъ бракѣ Талызиной, во второмъ — Волковой. Въ письмѣ къ П. И. Бирюкову отъ 27 ноября 1903 г. Толстой сообщалъ: «Потомъ главное, наиболее серьезное — это была Арсеньева Валерія. Она теперь жива, за Волковымъ была, живетъ въ Парижѣ. Я былъ почти женихомъ («Семейное счастье»), и есть цѣлыя пачки моихъ писемъ къ ней».17

На основаніи этихъ писемъ П. И. Бирюковъ, въ III изд. I т. биографіи Л. Н. Толстого (М., 1923), далъ отдѣльную главу подъ заглавіемъ

«Роман» (стр. 138–160). На основании тех же материалов говорят об отношениях Толстого к Арсеньевой Н. Н. Гусев в книге «Толстой в молодости» (М., 1927, стр. 254–268) и В. А. Жданов в работе «Любовь в жизни Льва Толстого» (М., 1928, кн. первая, стр. 38–45). П. И. Бирюков и Н. Н. Гусев упоминают и о том, как «роман» Толстого отразился в «Семейном счастье». Этому же вопросу посвящена работа П. Павлова, напечатанная в «The Slavonic review» (Vol. VII, 1929, January), «Tolstoy's Novel Family Happiness».18

Трудно точно определить, когда у Толстого зародился замысел «Семейного счастья». Быть может, о нем говорит запись в Дневнике 16 августа 1857 г.: «Любовь. Думаю о таком романе».

Точно так же нет определенных данных и для установления того, когда именно Толстой приступил к работе над романом.

П. И. Бирюков полагает, что Толстой начал писать «Семейное счастье» уже окончательно пережив и «отжив» всё, связанное с его отношениями к В. В. Арсеньевой, – другими словами, в то приблизительно время, когда стала возможной запись в дневнике под 30 октября 1858 г.: «Видел Валерию, даже не жалко чувства».

П. Павлов, в упомянутой выше работе, настаивает на связи двух романов: одного – писавшегося и другого – одновременно с первым – «изживавшегося в воспоминаниях», и считает, что к концу апреля 1858 г. значительная часть романа была уже написана. «Посетив опустевшее Судаково (имение Арсеньевых), – пишет П. Павлов, – Толстой занес в своем дневнике: «Вчера ездил в Судаково... Грустны Судак[овские] перемены, но я не жалею». И тут же о «Семейном счастье»: «В романе дошел до 2-й части, но так запутанно, что надо начинать всё сначала или писать 2-ю часть».

Но суммарная запись Дневника под 27, 28, 29, 30 апреля едва ли позволяет без всяких колебаний считать упомянутый в ней роман «Семейным счастьем». Во-первых, слова о «Судаковских переменах» отделены от упоминания о 2-й части романа довольно длинным рядом записей совершенно другого содержания, а во-вторых, что самое главное, – этому упоминанию непосредственно предшествует следующее: «Перечитывал вчера кавказский дневник. Напрасно я воображал, что я такой милый там мальчик, напротив, а всё таки, как прошедшее, очень хорошо. – Много напомнило для кавказ[ского] романа». – Взятая в таком контексте заключительная фраза записи говорит скорее о «Казаках», чем о «Семейном счастье».

В итоге мы не имеем вполне точных данных, позволяющих определить начало работы Толстого над «Семейным счастьем». 29 января 1859 г. Некрасов писал Толстому, разумея «Семейное счастье»: «Тургенев мне сегодня сказал, что Вы окончили ваш роман. Я прошу его у Вас для Современника и предлагаю Вам назначить, какие Вам угодно, денежные условия. Полагаю, что в этом отношении мы сойдемся выгоднейшим для Вас образом».19 Эти строки Некрасова были пересланы Толстому через Тургенева, писавшего ему 2 февраля 1859 г.: «...прилагаю записку от Некрасова, из которой Вы увидите, что он намерен засыпать Вас золотом. – Мне сказал какой-то москвич, что роман Ваш готов – и я

ему повторил это».20

16 февраля, после большого перерыва (предыдущая запись – 1 января) Толстой отмечает в Дневнике: «Всё это время работал над романом и много успел, хотя не на бумаге. Всё переменял. Поэма. Я очень доволен тем, что в голове. Фабула вся неизменно готова». «Работаю», отмечает он в тот же день.

К марту роман, в 1 редакции, был закончен и, во время пребывания Толстого в Петербурге, был прочтен автором в кружке его родственницы, гр. А. А. Толстой.

Первоначальным очерком этой редакции мы считаем рукопись 1 (автограф), а рукопись 3 (автограф) дает две последние главы романа в том виде, в каком они были после окончания работы над I редакцией. У А. А. Толстой роман читался, вероятно, по копии. Остатком этой копии или другой, ей современной, является рукопись 2 (копия).

По возвращении из Петербурга Толстой пишет своей родственнице – (письмо не датировано): «Брата и сестру я один день не застал здесь, и чувствовал бы себя одиноким, ежели бы не работа, которой я отдаюсь часов по 8 в сутки. Анна переделывает свои записки, и я надеюсь, что ее бабушка будет ими более довольна, чем в первом, безобразном виде.21 Анной Толстой называется здесь, несомненно, «Семейное счастье», хотя нет никаких данных, позволяющих утверждать, что героиня романа носила это имя. Возможно лишь предположение, что А. А. Толстая посоветовала изменить имя героини, называвшейся, как увидим ниже, первоначально Лизой, и рекомендовала назвать ее Анной. Толстой переименовал героиню в Машу, а Анна могла остаться, в переписке с А. А. Толстой и в Дневнике, условным именем главного действующего лица или условным же заглавием романа.

5 апреля Толстой извещал свою родственницу, что «работу кончил»,22 а 9 апреля ретроспективная запись Дневника, сделанная опять после большого перерыва (предшествующая запись – 19 февраля), говорит: «Работал, кончил Анну, но нехорошо».

Здесь идет речь о II редакции романа, не полностью сохранившейся в рукописи 4 (автограф и – в незначительной части – копия).

Отношение Толстого к оконченному им произведению на первых порах резко колеблется, чтобы затем остановиться на очень низком уровне. Только что высказанное недовольство сначала уступает место другому чувству. Роман во II редакции прочитан В. П. Боткину, и последний, несколько позднее, напоминает автору, какого «высочайшего мнения» был он о своем произведении, как пенял приятелю, что он «продешевил», будучи посредником по передаче «Семейного счастья» в «Русский вестник» Каткова.23 А когда роман был уже, очевидно, в портфеле редакции, Толстой подумывает о печатании его под псевдонимом, – конечно, для того, чтобы не уронить своей репутации.24 3 мая Толстой записывает в Дневнике: «Получил С[емейное] с[частье]. Это постыдная мерзость». Как видно из письма к Боткину от того же 3 мая, в этот день получены были корректуры второй части романа. «Я увидал, – пишет Толстой, – какое постыдное

говно, пятно, нетолько авторское, но человеческое – это мерзкое сочинение... Я теперь похоронен и как писатель и как человек. Это положительно. Тем более, что 1-я часть еще хуже. Пожалуйста, ни слова утешенья не пишите мне, а ежели вы сочувствуете моему горю и хотите быть другом, то уговорите Каткова не печатать эту 2-ю часть; а получить с меня обратно деньги, или считать за мной до осени». Он с неопишным отвращением поправил корректуры и просит Боткина тоже просмотреть их и исправить, что можно. Самому ему «хочется всё перекрестить». Конец романа не прислан ему, да «и не нужно присылать его. Это мука видеть, читать и вспоминать об этом».25 Одновременно с этим письмом Боткину Толстым были посланы корректуры Каткову и письмо А. А. Толстой. Последней он писал: «Еще горе у меня. Моя «Анна», как я приехал в деревню, и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана. И в этом не утешайте меня. Я знаю, что я знаю».26

Боткин отозвался на письмо Толстого немедленно по его получении, 6 мая.

Он понимает негодование Толстого, «но что ж делать! Дело сделано и поправить его нечем». Он напоминает свой отзыв о романе, сделанный непосредственно после того, как он познакомился с ним в чтении автора. Тогда он сказал, что «всё это исполнено какого-то холодного блеска и ничто не трогает ни мысли, ни чувства». Боткин и теперь держится такого же мнения. Толстой напрасно осуждает язык: язык отличный, и его именно разумел Боткин под словом «блеск». Неудача вызвана не языком, а «неясностью первоначальной мысли», «напряженным пуританизмом в воззрении». Толстой от прежнего «высочайшего мнения» о романе перешел к резко противоположному. По мнению Боткина, он был неправ тогда, неправ и теперь: «Несмотря на его противный пуританизм, – в рассказе постоянно чувствуется присутствие большого таланта». Боткин обещает просмотреть корректуры «с величайшим вниманием и озлоблением».27

11 мая Толстой благодарит Боткина за его «твердую откровенность». «Поверите ли, – продолжает он, – как вспомню только содержание милой повести или читая найду что-нибудь напоминающее, краснею и вскрикиваю». Одна из причин, почему он теперь едва ли приедет в Москву, – стыд, вызванный появлением «Семейного счастья».28

Тем временем Боткин «с самым озлобленным вниманием» читал корректуру второй части романа, и результат получился совершенно им неожиданный: вторая часть не только ему понравилась, но он находит ее «прекрасною почти во всех отношениях». Конечно, роман требовал большей обработки и не такого «проглоченного» конца, но даже и в настоящем виде это «прекрасная вещь, исполненная серьезного и глубокомысленного таланта», и Боткин позволил себе сделать «только два маленькие выпуска, которые напрасно растягивали рассказ, не прибавляя к нему ничего существенного». Не полагаясь на себя одного, Боткин советовался с Катковым. Последний, совсем еще не зная второй части романа, но основываясь на отзыве о ней самого Толстого, готов был не печатать ее, но предоставил окончательное решение Боткину. «Прочтя всё внимательно, – пишет Боткин, – я решился поступить

против Вашего желания, ибо, по моему мнению, эта 2-я ч. прекрасна и должна быть напечатана. В последней фразе я сделал маленькую перемену, вычеркнув слово «роман», которым она характеризует вторую половину, семейную и материальную своей жизни, ибо слово «роман» не идет к таким отношениям».29

До нас не дошли ни окончательная рукопись, по которой «Семейное счастье» набиралось, ни корректуры, для 1-й ч. романа, правленные Толстым, а для 2-й – и Толстым и Боткиным. Мы не знаем доли участия Боткина в исправлении 2-й части «Семейного счастья». Быть может, в конце концов, он отказался от намерения сделать «выпуски», как отказался от намерения вычеркнуть слово «роман»: в журнальном тексте оно стоит на своем месте.

«Семейное счастье» было напечатано, за подписью «Граф Л. Толстой», в 1 и 2 апрельских книжках «Русского вестника» за 1859 г. Роман разделен на две части, по одной в каждой книжке журнала, причем вторая часть не имеет самостоятельной нумерации глав, а начинается с VI главы. Такое же обозначение глав сохранено в изд. Стелловского (1864 г.). Отдельная нумерация глав 2 части впервые появилась в III изд. сочинений (1873 г.).

Что касается самого текста романа, то изд. Стелловского, III и IV изд. сочинений повторяют журнальный текст с некоторыми незначительными и, несомненно, случайными отменами преимущественно в пунктуации. Начиная с V изд. (1886 г.) встречаются немногочисленные изменения более серьезного характера.

Настоящее издание дает журнальный текст с следующими конъектурами (в пояснениях к ним текст журнала сокращенно обозначается Р. В., а рукописи 1 и 4 – ркп. № 1, ркп. № 4).

Стр. 76, строка 16 св.

Вместо: не по-вечернему, – в Р. В.: не повчерашнему. Последнее написание считаем за опечатку и исправляем. В ркп. № 4 и VIII изд. соч.: не по-вечернему, – в изд. ГИЗа (1928 г.): не по-вечорашнему, – в остальных собр. соч.: не по-вчерашнему.

Стр. 79, строка 19 св.

Вместо: убивать скуку, – в Р. В.: убавить скуку. Последнее написание считаем за опечатку и исправляем. В ркп. № 1 и 4: убивать скуку.

Стр. 80, строка 6 св.

Вместо: приходило – в Р. В.: проходило. Считаем последнее написание опечаткой и исправляем. Приходило впервые появляется в V изд. сочин.

Стр. 81, строка 6 сн.

Вместо: выделялись – в ркп. № 4: выделявались Не решаемся счесть за опечатку и исправить.

Стр. 87, строка 4 св.

Вместо: поскрипывали – в Р. В.: поскрипывали.

Стр. 102, строка 9 св.

Вместо: с свекровью, – в Р. В., явно ошибочно: с тещею,

Стр. 103, строка 15 сн.

Вместо: обсыхающее – в Р. В.: опыхающее Так же в изд. соч. III, IV и ГИЗа (1928 г.), в остальных: осыхающее. В ркп

№ 1 – обсыхающее, в ркп № 4: – обыхающее (с пропуском «с»). Берем написание ркп № 1.

Стр. 122, строка 15 сн.

Вместо: роскоши глупого общества; – в Р. В.: роскоши и глупого общества; Последнее написание считаем опечаткой и даем текст, впервые появившийся в V изд. соч.

Стр. 126, строка 13 сн.

Вместо: хотя через два часа – в Р. В.: хотя и через два часа

Последнее написание считаем опечаткой и даем текст, впервые появившийся в III изд. соч.

Следует отметить также, что мы лишь в самых необходимых случаях воспроизводим ударения над что, которыми пестрит журнальный текст. Рукописи не дают оснований для такого количества ударяемых что, и последние, как показывает просмотр других текстов Р. В., являются особенностью Катковского журнала. На тех же основаниях не воспроизводятся ударения над как, в словах стоит, замок и написание серьезно. Разночтения журнального текста сохранены: никольский дом – Никольский дом; покровский дом – Покровский дом; самую – самое; скрып – скрипящий.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ «СЕМЕЙНОГО СЧАСТИЯ».

Четыре рукописи, относящиеся к работе над «Семейным счастьем», хранятся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

1. (Папка III.) Автограф, состоящий из 27 лл. довольно плотной сероватой писчей бумаги размером в лист. Водяных знаков нет. Клеймо фабрики Маршева. Лл. 1 и 27 служат обложкой для остальных. Л. 1 сверху оборван приблизительно на треть. На нем карандашная надпись

рукой С. А. Толстой: «К Семейному счастью». Л. 1. об. чистый. Текст начинается с л. 2, без заглавия, прямо с обозначения – «Глава I». Небольшие поля слева. Чернила черные, выцветшие. Авторской пагинации нет. Многочисленные поправки, вычеркивания, перечеркивания, вставки на полях и между строками сделаны другими, более густыми чернилами. Ряд аннотаций.

Текст рукописи неполный: из девяти глав романа он дает семь целиком и конспективное изложение двух последующих глав, объединенных в одну. Разделения на две части нет.

Из этой рукописи даны варианты №№ 1–8.

2. (П. III.) Копия. 4 лл. в виде двух перегнутых пополам полулистов серой писчей бумаги. Водяных знаков нет. Клеймо фабрики Новикова. Чернила черные. Поля в полстраницы. Почерк конторский, с завитушками.

Текст дает не совсем грамотную копию начала I гл. романа в редакции описанного выше автографа и кончается словами: «задала ей урок собрала свои давно»

3. (П. III.) Автограф, состоящий из 12 лл. в виде шести перегнутых пополам полулистов такой же писчей бумаги, как в только что описанной копии. Л. 12 об. чистый. На лл. 1–6 поля справа, приблизительно с треть листа, на л. 7 – значительно уже, лл. 8 и 9 без полей, на лл. 10–12 небольшие поля слева. Чернила черные, выцветшие. Авторской пагинации нет. Довольно много вычеркиваний, исправлений и вставок.

Рукопись дает полностью VIII–IX главы.

4. (П. III.) Автограф и – в незначительной части – копия в виде переплетенной тетради размером в четверть листа. Коричневый коленкорный переплет слегка попорчен в верхнем правом углу передней крышки. На внутренней стороне задней крышки наклеена этикетка «Jules Osberg et Cie. Pont des Maréchaux, maison Tatisheff. Moscou».30 В рукописи 57 лл. русской слегка сероватой писчей бумаги. Водяных знаков нет. Овальное клеймо с большими буквами Б. А. Лл. 49, 51–55 вырваны и вложены в тетрадь. Лл. 54–57 чистые. Авторской пагинации нет. Поля справа в поллиста. Чернила черные. Лл. 1–47, часть л. 47 об., 48–50 и 53 – автограф. Десять строк в конце л. 47 об., лл. 51 и 52 писаны неизвестной рукой, очень старательно, местами с характерно писарскими завитушками. На 1 л., над обозначением I гл., заглавие: Семейное счастье.

В отношении вычеркиваний, вставок на полях и между строками, перечеркиваний и всякого рода исправлений рукопись резко делится на две части. Во второй части, начиная с гл. VI (л. 43 об.), количество исправлений гораздо больше, чем в первой. Местами первоначальный текст весь перечеркнут, и новый занимает все поля. На протяжении всей рукописи на полях часто встречаются вопросительные знаки, поставленные красным карандашом. Тем же карандашом вычеркнуто несколько слов и отчеркнуты некоторые места. Почти все

вопросительные знаки стоят около строк, где речь идет о гувернантке Кате. Ряд аннотаций на полях и по тексту.

Рукопись дает не весь текст романа. Лл. 1–47 охватывают полностью первые пять глав и часть шестой. Дольше ряд пропусков. Нет почти всей второй половины VI гл., начала и конца VII, самого начала VIII и конца IX гл. Последние слова рукописи (л. 53 об.): «Мы жили каждый порознь, онъ съ своими занятіями, въ которыхъ мнѣ и не хотѣлось, и не нужно было теперь участвовать съ нимъ, я съ своей праздностью, которая не оскорбляла, не беспокоила его».

Разделения романа на две части нет.

Из этой рукописи даны варианты № 9 и 10.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ «СЕМЕЙНОГО СЧАСТЯ» ПО РУКОПИСЯМ И ПО ПЕЧАТНОМУ ТЕКСТУ РОМАНА.

Рукописи 1, 2 и 3, относящиеся к первой редакции романа, отличаются по содержанию от журнального его текста прежде всего тем, что в них почти совершенно отсутствует образ матери Сергея Михайлыча: она лишь дважды мельком упоминается, не названная по имени и отчеству, в начале I гл. и в зачеркнутом конце V гл. Другое отличие – иные имена у некоторых действующих лиц: героиня называется Елизавета Александровна, гувернантка – Маша, Марья Емельяновна; леди С. в нескольких случаях названа полным именем – леди Старфорс; Сергей Михайлыч иногда зовут Соню Навочкой – семейное ее прозвище.

Переходим к сравнению рукописей первой редакции и печатного текста по главам, причем для глав I–VII берем рукопись 1, для глав VIII–IX – рукопись 3, так как рукопись 1 дает эти главы лишь конспективно и в слитном виде.

Глава I. Четыре первых абзаца очень близки к печатному тексту. Затем идет отсутствующее в печатном тексте описание весеннего дня и радостного самочувствия героини, когда, спустившись в столовую, она узнала о предстоящем приезде опекуна (см. вариант № 1).

Конец абзаца, соответствующего седьмому абзацу печатного текста, зачеркнут:

Сергѣй Михайлычъ мнѣ казался всегда хорошъ, добръ, весель; но какъ только я подумала объ немъ, какъ о мужѣ, онъ сдѣлался вдругъ ужасно дурень; старъ, чорнь и даже непріятень и страшень. Мнѣ показалось, что онъ притворяется при насъ, а что дома онъ долженъ быть суровый и нехорошій дерзкой человѣкъ. – Тогда же я была въ первый разъ влюблена въ сына нашего музыкальнаго учителя. О бѣдный Карлуша, какъ я только вспомню живо, какъ я задышалась отъ радости и волненья,

какъ краснѣла до ушей, когда ты расшаркивался, входя къ намъ, какъ мнѣ становится смѣшно и грустно, грустно...

Описание игры Маши на фортепьяно в рукописи значительно короче:

В остальном I гл. очень незначительно разнится от печатного текста.

Глава II. В рукописи отсутствуют картина майского вечера (четвертый абзац печатного текста) и разговор о женитьбе между героиней, гувернанткой и опекуном.

В дальнейшем, после сцены отъезда С. М., II гл. в рукописи, помимо иного расположения материала, дает или более подробное развитие какой-нибудь частной темы, сделанное к тому же не в эпически-повествовательной форме с ее «холодным блеском», о котором говорил Боткин, а в виде живого диалога, или ряд мелких, нехарактерных подробностей. Таково, например, место, которое соответствует абзацу печатного текста, начинающемуся со слов: «Что также сначала не нравилось мне», или упоминание стихотворения Пушкина («Для берегов отчизны дальной»...) в абзаце, который и в рукописном, и в печатном тексте начинается со слов: «И ведь за что я получала тогда такіе награды», (см. вариант № 2). Благодаря иному расположению материала, II гл. в рукописи кончается только что упомянутым абзацем.

Глава III. В рукописи она начинается абзацем, отсутствующим в печатном тексте (см. вариант № 3).

После этого абзаца, кончая разговорами о вишнях, тексты рукописный и печатный очень близки.

В дальнейшем – значительные расхождения. По рукописному тексту к сараю идут только Лиза и Сергей Михайлыч; ключа им никто не приносит, и С. М. выламывает дверь; разговор о том, кому легче любить, – мужчине или женщине, завязывается по поводу романа, который читают Лиза и Маша; С. М. рассказывает историю про учителя (первоначально про принцессу Никиту и принца Вавилу; см. варианты №№ 4–5).

В этой главе две аннотации, сделанные поперек текста. Первая (л. 9) – «Воспоминан[ія] разговоры» – сделана на том месте, где С. М. говорит, что не только женщина, но и мужчина не может говорить о своей любви. Вторая (л. 10 об.) – «Чтожь онъ уѣзжаетъ» – находится на том месте текста, где Лиза просит С. М., чтоб не было «этой глупой исторіи» – сказки.

Глава IV. Вместо первых пяти абзацев печатного текста идет то, что дано как вариант № 6. Обращает на себя внимание несколько раз переделанное, вычеркнутое, перечеркнутое и с большим трудом поддающееся восстановлению в первоначальном виде изображение мечтаний героини о будущей семейной жизни с С. М. (см. вариант № 7). В рукописи нет истории г-на А. и г-жи Б.: вместо нее С. М. рассказывает историю про учителя, начало которой – в предыдущей главе.

В остальном рукописный текст близок к журнальному.

Глава V. В рукописи нет места, соответствующего первому абзацу печатного текста. Глава начинается так:

Через 2 недѣли была назначена наша сватьба. Нечего и говорить, что всѣ въ домѣ, начиная отъ Сони и до старика Григорья, были въ восторгѣ отъ этой сватьбы. Онъ прїѣзжалъ все это время, каждый день, но какъ и прежде только по вечерамъ, рѣдко къ обѣду и никогда не оставался ночевать.

Разговор Лизы с С. М. (его начало – 5 абзац печатного текста) изложен в рукописи более сжато. После него – отсутствующая в печатном тексте сцена молебна и разговор о религии (см. вариант № 8). Описание венчанья еще короче, чем в печатном тексте, и сводится к словам:

Обряд совершился неторопливо, спокойно.

Рукопись заканчивает V гл. вычеркнутым описанием семейной жизни молодых супругов.

В самом начале этой главы, на полях л. 15, находится очень мелким почерком неразборчиво написанная и перечеркнутая аннотация: «Признанья, сватьба тихая. Я говоря о религии глядя на него я молюсь. Наша первая ночь молитва. Богъ простить. Мнѣ показалось что я всего это [1 неразобр.] онъ нѣжень, а міръ [?] былъ закрытъ. Ты права, отъ нѣжности. Въ Москву».

Глава VI. В рукописи нет описания семейной жизни Лизы и С. М. в доме его матери. Глава прямо начинается со слов: «Такъ прошло два мѣсяца.»

В остальном рукопись близка к печатному тексту.

На том месте VI гл., где говорится об отношении соседей к С. М. и об обедах супругов вдвоем (л. 20), имеется аннотация поперек текста: «Ребенок».

Глава VII. В рукописи нет первого абзаца печатного текста. Абзац второй и третий близки к печатному.

Начиная с абзаца четвертого и до слов, соответствующих в печатном тексте фразе: «А я видела, какъ ты что-то очень оживленно разговаривал с Н. Н...» – значительное расхождение. Оно обусловлено иной психологической установкой в характеристике отношений Лизы и С. М. в Петербурге. В то время, как печатный текст подчеркивает, что спокойствие С. М. здесь исчезло или не раздражало более Лизу, в рукописи читаем:

Я видѣла, что въ нашей городской жизни онъ устраивалъ себѣ ту же спокойную жизнь и тоже было въ немъ кроткое участие и всепрощение ко всему и таже тихая твердая любовь ко мнѣ, составлявшая мое счастье –

да, но заковычавшая и давившая меня. А мнѣ нужно было другое. – Не свѣта мнѣ нужно было, мнѣ такъ было хорошо, что я ничего не желала, и всѣ мечты мои о свѣтѣ давно разлетѣлись, но когда я вспоминаю теперь, мнѣ нужно было такой жизни, въ которой не онъ бы, а я была первая, мнѣ нужно было показать ему мою власть красоты и молодости, показать свою силу и потомъ отдать ее ему.

В дальнейшем рукописный текст близок к печатному, за исключением двух последних абзацев, которых нет в журнальном тексте:

На другой день мы встрѣтились съ нимъ за чаемъ спокойно холодно, и ничего не было сказано о вчерашнемъ.

Прошло 2 мѣсяца, дружелюбныя отношенія установились между нами, а рана не была излечена и продолжала сочиться. вмѣсто того чтобы ѣхать въ деревню, онъ предложилъ остаться въ Петерб[ургѣ] на дачѣ, и я чувствовала, что онъ правъ, говоря, что намъ нехорошо будетъ нынѣшній годъ въ деревнѣ.

Глава VIII. Она начинается в рукописи с места, соответствующего четвертому абзацу печатного текста.

Характеристика общества, собравшегося в Бадене, сделана подробнее. Беседа француза и итальянца, случайно подслушанная Лизой, более подчеркнуто-груба. Речь француза в значительной ее части дана по-французски.

В конце этой главы, вверху л. 9, по середине, сделана в скобках аннотация: «(какъ онъ принялъ меня)». Она развита в виде довольно большой вставки, вписанной мелким почерком частью между строк, частью на чистом перерыве между VIII и IX гл. и очень близкой к концу VIII гл. в ее печатном виде.

Глава IX. Ее рукописная редакция отличается от печатной значительно большей сжатостью заключительного разговора между супругами и другой концовкой. Последняя не останавливает внимания читателя на будущей, «иначе счастливой жизни», которую героиня «еще не прожила въ настоящую минуту», а не отрывается от прошлого и заключает роман такими словами:

Да, прошло, невозвратно прошло, сказалось мнѣ невольно, и мнѣ вдругъ легко стало. Что можетъ мнѣ дать теперь этотъ человекъ, и чего я желаю? этаго не будетъ. Да и было ли это когда-нибудь!

В этой главе имеются две аннотации, сделанные поперек текста и, судя по почерку, одновременно с аннотациями в рукописи 1. Одна находится в самом начале главы (л. 8): «что я жалѣла и страсть и его». Вторая написана почти через весь лист, на том месте основного текста, который дает картину игры на фортепьяно (л. 9 об.): «Темно я не вижу его и такъ какъ безъ него кажется что можно. Онъ говорить и кажется что ничего не было».

Рукопись 4, относящаяся ко второй редакции романа и сохранившая первую его часть целиком, а вторую (с гл. VI) лишь в отрывках, первыми пятью главами чрезвычайно близка к печатному тексту. Быть может, копия, сделанная для отправления в «Русский вестник», снималась, для первой части романа, именно с этой рукописи.

Начиная с гл. VI, эта рукопись, насколько можно судить по сохранившимся отрывкам, давала, в полном своем виде, больше бытовых подробностей при описании старой помещичьей жизни в доме матери С. М. и детальнее говорила о том, что внес в жизнь Лизы ребенок (см. варианты №№ 9 и 10).

И в этой рукописи ряд аннотаций.

На л. 45 об., за вторично поставленным (впервые на л. 43 об.) и зачеркнутым обозначением VI гл., поперек текста написано: «Я любила его и его прошедшее. О домъ въ отнош[еніи] его. Его корни». В главе VI, против слов основного текста: «я играла, а онъ ходилъ по комнатъ» (л. 47), на полях две заметки: «Музыка» и «разговоръ о каретъ» и т. д. На л. 53, по тексту конца VIII гл., занимающему почти все поля, написано: «Я ужаснулась холодности къ ребенку».

Следует отметить, что рукопись 4 хранит особенно яркие следы живого языка Толстого, исчезнувшие в печатном тексте. Сюда мы относим следующие случаи. Ркп. – Григорья, Григорью; печатн. т. – Григорія, Григорію. Ркп. – полоскнулось полотно терасы; печатн. т. – полохнулось полотно террасы. Ркп. – свѣчей; печатн. т. – свѣчь; Ркп. – панаеида (дважды); печатн. т. – панихида. Ркп. – слаже, печатн. т. – слаще. Ркп. – дипломація, печатн. т. – дипломатія и т. д.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят произведения 1856–1859 годов.

Кроме известных произведений: «Из записок князя Д. Нехлюдова» («Люцерн»), «Альберт», «Три смерти» и «Семейное счастье», печатаемых по журнальным текстам, как единственным авторизованным, в этот том включены варианты к трем последним вещам, извлеченные из черновых рукописей Толстого, а также четыре произведения, опубликованные уже после его смерти: «Сказка о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая», «Как умирают Русские солдаты» («Тревога»), «Лето в деревне» и «Речь в Обществе Любителей Российской словесности».

Впервые печатаются в настоящем томе неоконченные и неотделанные произведения и наброски художественного содержания: «Начало фантастического рассказа», «Отъезжее поле», «Записки мужа», «Отрывок

без заглавия», «Светлое Христово воскресенье»; писания, относящиеся к проекту освобождения яснополянских крестьян, в количестве семи номеров; один набросок публицистического содержания: «Записка о дворянстве»; заметка юридического содержания: «О русском военно-уголовном законодательстве» и, наконец, «Отрывок дневника 1857 года» (Путевые записки по Швейцарии) и «Проект по лесному хозяйству».

Произведения, появившиеся в печати при жизни Толстого, размещены в порядке их опубликования, остальные – в порядке их написания, поскольку они могут быть хронологически приурочены к определенному моменту.

Н. М. Мендельсон.

В. Ф. Саводник.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПЯТОМУ ТОМУ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся и это оговаривается в сноске.

На месте слов, неудобных в печати, ставится в двойных прямых скобках цифра, обозначающая число пропущенных редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах)

воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «к-ый», вместо который, и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый, «т[акъ] к[акъ]» и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или: [2 неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-накрест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом. Дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы

без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Обозначения: *, **, ***, ****, в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Л. Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Иллюстрации

Фототипия с фотографического портрета Толстого, снятого в Брюсселе в 1861 г. (размер подлинника) между X и 1 стр.

Автотипия с 53 листа рукописи второй редакции романа «Семейное счастье» (размер подлинника) между 176 и 177 стр.

1

[в форме фантазии.]

2

[в ракурсе]

3

[лучшее – враг хорошего.]

4

[– Желая успеха, друг мой,]

5

[– Я люблю вас,]

6

[в форме фантазии]

7

Абзац редактора.

8

Абзац редактора.

9

Переделано из: барышня.

10

В подлиннике: онъ.

11

Вписано между строк и тоже вычеркнуто: Вотъ тебѣ скляночка. Вотъ тебѣ пузырекъ.

12

Переделано из: пузырькахъ.

13

Зачеркнуто: Вавило

14

Переделано из: пузырьки

15

В подлиннике: моимъ

16

Переделано из: притворную

17

По подлиннику.

18

«Славянское обозрение» (т. VII, 1929, январь), «Роман Толстого «Семейное счастье».

19

Альманах «Круг», кн. 6, стр. 219.

20

«Толстой и Тургенев. Переписка». Редакция и примечания А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского. М. 1928, стр. 51. Даем текст по подлиннику.

21

«Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 116.

22

Там же, стр. 121.

23

Письмо В. П. Боткина, Москва, 6 мая 1859 г. «Толстой. Памятники творчества и жизни». 4.

24

Там же, стр. 66–67, письмо Толстого к Боткину, Ясная Поляна, 3 мая 1859 г.

25

Там же. Из письма не ясно, что не было прислано: оригинал или корректуры, или то и другое.

26

«Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 133.

27

«Толстой. Памятники творчества и жизни». 4, стр. 70–71.

28

Там же, стр. 73.

29

Там же, стр. 74–75.

[Юлий Осберг и Ко. Кузнецкий Мост, дом Татищева. Москва.]